

ГОСПОДИН
ВЛАДИКЪ
НОВГОРОДЪ



Николай Эдуардович Гейнце

Новгородская вольница

Имя Николая Гейнце – видного русского писателя середины прошлого века, автора ряда исторических романов об истории России сравнительно мало известно отечественному читателю.

От множества современных и более поздних писателей, пишущих на ту же тему, его отличает глубокое проникновение в суть описываемых событий, активная работа с документальными источниками, многие из которых оказались безвозвратно утраченными в наши дни, активная гуманистическая и православная идея.

Повести о «Господине Великом Новгороде» воскрешают перед нами события XV – XVI веков, когда молодое российское самодержавие боролось с новгородской вольницей, противостоявшей утверждению абсолютной монархии на Руси.

Содержание

#1	0007
Часть I ГОСПОДИН ИЛИ ГОСУДАРЬ?	0008
#1	0009
I. В Новгороде	0009
II. В тереме Марфы	0018
III. Клятва	0030
IV. Среди спасителей отечества	0038
V. Новгородская бывальщина	0043
VI. Чурчила	0051
VII. Вече	0056
VIII. Бунт	0062
IX. В келье Феофила	0069
X. Ответ великому князю	0075
XI. На берегу Волхова	0081
XII. В доме Фомы	0091
XIII. В Чертовом ущелье	0104
XIV. Терем под Москвой	0109
XV. Поздние гости	0116
XVI. История терема	0124
XVII. Рассказ Савелия	0131
XVIII. Рассказ Агафьи	0138
XIX. На пути к Москве	0145
XX. Москва в 1477 году	0153
XXI. В Кремле	0161
XXII. Царь	0167

XXIII. Начало новгородской смуты	0174
XXIV. Польская интрига	0180
XXV. Война	0186
XXVI. В доме князя Стриги-Оболенского	0192
XXVII. В палатах великокняжеских	0198
XXVIII. Пред лицом великого князя	0207
Часть II ПОД ВЛАСТЬ МОСКВЫ	0214
#1	0215
I. На берегу Наровы	0214
II. Пленник	0222
III. Павел-колдун	0227
IV. Бегство	0236
V. Замок Гельмст	0242
VI. Весть о русских	0251
VII. Два соперника	0261
VIII. Гритлих	0271
IX. Свидание	0281
X. В московской думной палате	0291
XI. Увещательная грамота	0295
XII. Под стяг московского князя	0302
XIII. Выступление и поход	0308
XIV. Новгородские перебежчики	0316
XV. Новгородское посольство	0322
XVI. Перед осадой	0330
XVII. Ворон ворону глаз не выклюет	0338
XVIII. Спасение Гритлиха	0347
XIX. Среди земляков	0356
XX. Ряженые в замке	0364

XXI. За славу, за Эмму!	0372
XXII. В подземелье	0380
XXIII. Пожар	0390
XXIV. Гибель Эммы	0398
XXV. Под Новгородом	0406
XXVI. Единоборство сына с отцом	0413
XXVII. Прерванное обручение	0421
XXVIII. Признание посольства Назария	0430
XXIX. Свадьба среди боя	0442
XXX. Арест вечаго колокола и Марфы Посадницы	0449
XXXI. Послесловие	0455

Николай Эдуардович Гейнце
Новгородская вольница

Исторический роман из времен Иоанна III





Часть I
**ГОСПОДИН ИЛИ
ГОСУДАРЬ?**



I. В Новгороде

На дворе стоял сентябрь 1477 года.

Бледные осенние тучи бежали по небосклону. Из них сыпался мелкий частый дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряной дымкой; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шумя последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхова, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клокотала, как кипяток.

Вдруг среди этих чудных по своему разнообразию звуков природы раздался звон вечеревого колокола в Новгороде: раз, два... и залился. Вся окрестность, содрогнувшись, заняла

от этого звука.

Народ, слыша его, повалил буйными и нестройными толпами на Ярославово Дворище, окружавшее вече, и буквально затопил его. Рогатки, заграждавшие улицы, раскидывались и трещали от напора толпы.

Призыв на вече раздался рано утром, и рогатки еще не были раздвинуты ярыжками[1].

– Что за невзгода снова грозит на нас, бедных! – восклицали иные бегущие вслух, а другие только думали то же самое про себя, спеша достигнуть двора Ярославова, с которого неся вещей и пронзительный звук вечеревого колокола.

Без всякого порядка, без малейшего уважения к этому священному месту, бросился народ к воротам и стучал в них чем попало, угрожая выломать их или же сшибить камнями звонаря, если его тотчас не впустят в общее собрание.

Несколько караульных, – иные с бердышами, иные с пищалями, чинно разъезжавшие вокруг двора, – были сметены, а полусонные ярыжки, шатавшиеся в изумлении и хлопотах во все стороны с поднятыми, присвоенными

ми их должности палками, были биты ими же.

Наконец ворота подались, скрипнули, народ еще теснее прижался к ним, и они начали медленно растворяться.

Толпа с шумом, подобно бурному потоку, бросилась в них, но вдруг отступила, как бы пораженная внезапным видением, окаменела и мгновенно оказалась с обнаженными головами.

Архиепископ Феофил, во всем облачении, с животворящим крестом в руках, сопровождаемый знатнейшими сановниками, посадниками города и клиром, появился перед народом.

– Люди дерзновенные! – раздался среди наступившей могильной тишины его грозный голос, – образумьтесь! На что покушаетесь вы и перед кем? Разве забыли вы, ослушники богопротивные, перед чьим лицом предстоите? Смиритесь и приложите внимание к грамоте, которую прочтут вам. Но предваряю вас: размыслить хорошенько, о чем пишет к вам законный ваш князь. Вот наместник его, прибывший к нам вчера о вечерье.

Архиепископ указал рукою на бывшего тут же боярина Федора Давыдовича и продолжал:

– Не посрамите себя перед ним, дайте в душе вашей место голосу совести и отвечайте ему кротко, что внушит вам рассудок. Настало время решительное. Отечество наше зыблетя. Вы сыны его; я пастырь ваш; мы должны поддержать его, исцелить язвы, которые и прежде недрились в самом сердце его! Обдумайте, решитесь и преклоните колена перед милосердной заступницей нашей, святой Софией.

Феофил кончил и подал знак рукой. Посадник Яков Короб начал читать запросную грамоту великого князя:

– «Осподарь всея земли русския и великий князь московский, владимирский, псковский, болгарский, рязанский, воложский, ржевский, бельский, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондийский и иных земель отчин, и дедич, и наследник, и обладатель, Иоанн Васильевич, посылает отчине своей Великому Новгороду запрос с ближним боярином своим и великим воеводой, Федором Давыдовичем: что разумеает

народ его отчины под именем государя вместо господина, коим назвали его прибывшие от них послы архиепископские: сановник Назарий и дьяк веча Захарий? Имут ли они желание видеть власть судную в одних его руках и хотят ли присягнуть ему как полному властителю, единственному законодателю и судии не причастному, не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославлев, древнее место веча? Если так, то он посылает им милость свою и скоро имеет вступить во владение своих праотцев. Сию запись скрепил печатник печатью великокняжескою, князь Юрий Патрикеев. Писал ее дьяк Анциферов, по реклу[2] Шершавый».

Далее были прочтены скрепы сановника Назария и дьяка Захария.

Когда посадник окончил чтение этой грамоты, несколько минут народ хранил молчание ужаса, затем уже послышался глухой ропот:

– Это все бояре да посадники мудрят, якшаются с москвитянами, одаряются ими и тайком от нас обсылаются вестями да записями!

– Зачем же вече-то установлено, как не про

всех? Что мы черных сотен слобод людишки, так нам и не поверяют умыслы свои! Вот от белых-то и замарались! Дело вышло на разлад, так наши же руки и тянут жар загребать! – слышались там и тут возгласы.

– Как бы не так! Что сами заварили, пусть сами и расхлебывают! – крикнул чей-то зычный голос.

– Кто отвращает лицо свое от блеска меча вражеского, тот недостоин называться гражданином Новгорода Великого! – возвысил голос архиепископ. – Но дело в том. Прение наше должно совершиться во льготу отчизне, иначе месть Божия над нами!

– Владыко святой! – начал тысяцкий Есипов. – Ты сам видишь, что всю судную власть забирает себе наместник великокняжеский. Когда это бывало? Когда новгородцы так низко клонили свои шеи, как теперь перед правителем московским? Когда язык наш осквернялся доносами ложными, кто из нас был продавцом своего отечества? Упадыш? Казнь Божия совершилась над ним! Так да погибнут новые предатели – Назарий и Захарам. Мы выставляли князю московскому его

оскорбителей, выставь и он нам наших!

– Вестимо так, требуем этого по договорным грамотам! – раздались народные крики.

– Постойте, выслушайте меня, или же я слагаю теперь же сан свой с себя! – заговорил Феофил, возвышая голос, заглушаемый народом.

Из уважения к пастырю душ воцарилось молчание.

Архиепископ заговорил:

– Чьи очи из вас не зрели бедствия, унижения и срама отечества в недавнем времени? Чей слух не был раздираем воплями соотечественников – братьев ваших? Чье сердце, содрогаясь, не соболезовало в те тяжкие времена? Ваша кровь не совсем еще высохла на стенах крепостных, и вы, кичливые, опять становитесь доступны гордости, самонадеянности и непослушанию; опять даете пищу мечу вражескому, опять хотите утолить жажду его собственной кровью! Проклят тот, кто неправедную силу не отражает силой, но вдвое тот – кто противится правоте.

– Владыко святой, да видит Бог, мы неповинны. Ты сам видишь, на нас напали. Меж-

ду нами предатели, Иуды! Так бы и Литва не поступила! – снова закричал народ.

– Дети мои, – кротко и величественно отвечал Феофил, – сознавайтесь, чашу горшую должны допить вы за прошедшую вину свою ни чем неискупимую. Не ропщите же, но допивайте ее. Презренные наушники зло хитрят над вами: отклоните от их наветов слух свой, будьте терпеливы и предайтесь на волю Провидения. Мы обошлемся сперва с князем, обвиним предателей и поклонимся ему; предатели же будут наказаны собственным и грозным судом своей совести, а от нас да будут они преданы анафеме! Пойдемте же, преклоните колени перед престолом Всевышнего: это будет священным началом нашего дела!

Он снял клобук, благоговейно перекрестился и пошел.

– Анафема изменникам! – торжественно воскликнул клир.

– Анафема! Да будут преданы анафеме изменники – предатели отечества! – подхватил народ и в стройном порядке отправился за своим духовным владыкой.

Величественную и стройную картину представлял из себя храм святой Софии, основанный князем Владимирским, сыном Ярослава Великого, оставшийся доныне единственным памятником древнего Новгорода, когда благочестивый архиепископ, облаченный в крещатую ризу, с паствой своей преклонил колена перед алтарем и клир умирительно запел молитву: «Царю небесный».

По окончании ее Феофил вдохновенно произнес:

– Царь небесный услышит нас, когда мы dokonчим благословенное начало, но гром Его не замедлит разразиться в противных поступках. Опять повторяю вам: будьте кротки и терпеливы. Видите ли вы в куполе образ Спасителя со сжатой десницей вместо благословляющей? «Аз-бо – вещал глас писавшему сию икону, – в сей руке Моей держу Великий Новгород; когда же сия рука Моя распространится, тогда будет и граду сему окончание».

Растроганный народ начал молиться почитающим в храме мощам святителя Никиты, печерского затворника; благоверного князя Владимира Ярославича и святой благоверной

княгини Анны, матери его; приложился к Евангелию, писанному святым Пименом, и иконам Всемилоственного Спаса и премудрости Божьей – Петра и Павла, затем вышел на паперть, поклонился праху архиерея Иоакима и, освобожденный и успокоенный пастырским словом, мирно разошелся по домам.

II. В тереме Марфы

Темная ночь давно уже повисла над землей... Луна была задернута дождевыми облаками, и ни одна звездочка не блестела на небосклоне, казалось, окутанном траурной пеленой. Могильная тишина, как бы сговорившись с мраком, внедрилась в Новгороде, кипящем обыкновенно деятельностью и народом. Давно уж сковала она его жителей безмятежным сном, и лишь изредка ветер, как бы проснувшись, встряхивал ветками деревьев, шевелил ставнями домов и опять замирал.

Вся Никитская улица с своими домами, балаганами и лачужками утопала в непроницаемом мраке. Только в самом конце ее, в продолговатом окошке высокого терема, обра-

ценном во двор, мелькал огонек. Терем этот отличался от других особенным искусством и красотой в постройке, а потому назывался «Чудным теремом».

Его окружал на большое пространство высокий забор с зубцами, а широкие дощатые ворота, запертые огромным засовом, заграждали вход на обширный двор; за воротами, в караулке, дремал сторож, а у его ног лежал другой – цепной пес, пущенный на ночь. Кругом, повторяем, царила мертвая тишина, лишь где-то вдали глухо раздавались переклички петухов, бой в медную доску да завывание собак.

Послышались чьи-то тяжелые уверенные шаги. Кто-то шел вдоль забора и, остановясь у калитки, вырубленной в воротах, отыскал проволоку, продетую сквозь нее и потянул ее к себе.

Раздался тонкий звук колокольчика.

Чуткий пес, давно уже настороживший уши, рывкнул, вскочил, подсунул рыло под подворотню и радостно забил хвостом о землю. Сторож тоже встрепенулся, и с языка его сорвался обычный вопрос:

– Кто идет?

– Свой! – ответил ему не громко, но грубо, поздний гость.

В ту же минуту сторож отскочил от калитки, медное кольцо зазвучало, и незнакомец, тщательно закутанный, перенес свою ногу через высокий порог, оправил полы своего широкого охабня и опять грубым голосом сказал сторожу:

– Тебе, старый леший, сидеть бы на горохе да пугать воробьев. Что так рано пришиб тебя сон? Разве забыл, что должен дожидаться меня?

– Не во гневе твоей милости, господине: от самой боярыни вышел приказ держать ворота на запоре! – отвечал ему сторож.

Вошедший посмотрел на окно терема.

– Что это за огонь в оконнице?

– Должно быть, светец горит, али жирник, а статья может свечи теплятся в образной боярышницей перед ликом праздничной иконы. Завтра ведь праздник Рождества Богородицы.

– Не впрок мне звать о празднествах твоих. Говори, старый плут, не укрывается ли кто у

ней? Все ли наши собрались?

– А кто их знает. Я, окромя тебя, да князя Василия Ивановича, никого не знаю. Вишь, ходят все ночью, как тати.

– Скажешь ли ты мне, кто с ней, или я вызову у тебя язык вот этим! – вскрикнул незнакомец и, распахнув полы охабня, показал на кинжал, блеснувший во мраке своей серебряной чешуей.

– Сейчас, боярин, сейчас. Прошел к ней еще о вечерьи; в память ли тебе тот чернец-то, что, бают, гадает по звездам? Мудреный такой! Ну, еще боярыня серчала все на него и допрежь не допускала пред лице свое, а теперь признала в нем боголюбивого послушника Божия? В самом деле, боярин, уж куда кроток и смирен он! Наша рабская доля – поклонись ему низехонько, а он и сам так же.

– Кто бы это? – проворчал сквозь зубы вошедший. – Да это соловецкий пришелец, монах тамошней обители, все оттягивает у легковерной бабы льготы от земель ее на свой монастырь. Ну, я выжму ж его от нее... Он что-то мне подозрителен, – продолжал он

вслух высказывать мысли, направляясь к крыльцу терема.

Терем этот принадлежал вдове бывшего новгородского посадника Исаака Борецкого – Марфе.

В описываемую нами ночь она сидела в своей наугольной гриднице, где на широком дубовом столе догорала восковая свеча в точеном костяном светце и освещала передний угол с иконами в богатых окладах. Гридница эта была под сводами и роскошно убрана во вкусе того времени. Стены ее были обиты алым бархатом с раскиданными на нем серебряными и золотыми звездочками, а по бокам воткнуты были красивые позолоченные стрелы, как бы поддерживая эти богатые обои. В глубине гридницы стояло высокое ложе с пышными, шитыми в узор шелками изголовьями, задернутое кружевным пологом.

Марфа Борецкая сидела недалеко от него, важно раскинувшись на лавке, покрытой соболями.

Это была красивая, но далеко не молодая женщина. Покрывало ее, отороченное золото-шелковой бахромой, было немного опущен-

но на лицо, и из-под него мелькали быстрые глаза, особенно когда она повелительно устремляла их на своего собеседника, скромного чернеца, сидевшего перед ней с опущенными долу взорами.

Этот чернец был отец Зосима, еще довольно молодой, настоятель Соловецкой обители.

– Да скажи же мне, отче Зосиме, каким случаем сделалась известна обитель Соловецкая и по чьим следам вошел ты в нее? – говорила Марфа.

– Невидимая рука Божия привела меня в это тихое и уединенное пристанище, – отвечал отец Зосима, – предместник мой, святитель Савватий, бывший инок Кириллова-Белозерского монастыря, искал пустыни, где бы мог укромно возносить молитвы свои к престолу Всевышнего и безмятежно кончить дни свои, пустился странствовать с духовным братом своим Германом. Они отыскивали такое место на диком, уединенном, совершенно безлюдном острове и поселились на нем в 1422 году; там выстроили они себе убогий шалаш под мрачными сводами елей, недоступными солнечным лучам, а подле него часовню и до-

жили срок жизни своей тихо и благословенно.

– Как же ты переступил рубеж светской жизни? – продолжала допытываться Борецкая.

– Молва и слава о подвигах моего предместника огласилась во всех концах земли русской, сердце мое закипело святым рвением – я отверг прелесть мира, надел власяницу на телесные оковы и странническим посохом открыл себе дорогу в пустыню Соловецкую, обрел прах предместников моих, поклонился ему, и искра твердого, непоколебимого намерения, запавшая мне в душу, разрослась в ней и начала управлять всеми поступками моими. С благословения покойного архиепископа новгородского Ионы, основал я храм и огородил его стенами. Люди чуждые мира стекались ко мне со всех сторон и охотно понесли со мной тяжелый крест, скоро сделавшийся для нас легким; вскоре все избрали меня настоятелем, и это избрание довершил Иона благословением своим и поставил меня в игумены. Мощи святителя Савватия перенесли мы со всем благочинием в обитель, где почи-

вают они и доньше. С тех пор живем мы тихо, миролюбиво, согласно и привольно. Грамотой новгородской предоставлено нашей обители владеть островами Соловецким, Анзерским, Заяцким и другими. Мы, сколько могли, улучшили обитель: питаемся рыбной ловлей и засеянными нашими руками овощами; завели солеварню, провели каналы от потопления и без всякой нужды ожидаем вечности.

– И тебе, отче святой, не взгрустнулось по свету в юные годы твои? Не наскучили труды тяжкие, каждодневные, ни тогда, ни теперь?

– Они-то и не дали места скуке в душе моей, посвященной Богу и трудолюбию. Тогда я был крепче телом, ныне – духом. От молитвы – к трудам, от трудов – опять к молитве. Мне некогда было скучать и кручиниться. На душе было легко, на сердце весело. В часы отдохновения, бывало, выйдешь поразмыслить о своей новой жизни, взглянешь на все окружающее, начнешь созерцать искусство Небесного Художника – и мысли потонут в дивной красоте. Дикое, но прекрасное очарование положительно сковывает тебя: высокие развесы елей, пышными шатрами нависшие и шумно

раскачивающиеся над головой, а под ногами мрачное море, по которому ходят бурливые волны, глаз обнимает бесконечную сизую плену, кипящую сверкающими алмазами при свете дня. Одна мысль, что ты находишься на краю земли, отдаленном от всего мира, возбуждает благоговейные и высокие чувства, не радость и не печаль закрадывается в душу, а что-то необъяснимое, что выше того и другого. Когда же в немом восторге слеза умиления прольется из глаз, упадет на сердце и осветит его, когда душа зарвется из пленной оболочки своей и запросится в мир чудес и света... тогда поймешь этот мир, несравненно более прекрасный, нежели оставленный тобой.

Зосима умолк.

Благоговейно слушала Марфа вдохновенные слова святого мужа и после некоторой паузы растроганным голосом сказала:

– Да, у кого святое тепло на сердце, тому и ничего не недостает; но у кого душа больна...

Она не могла более продолжать и быстро надвинула покрывало на все лицо, чтобы он не прочел в нем движения сердечных дум.

– У кого она страдает светскими помысла-

ми, так ее и многим не удовлетворить: это бездонный сосуд, которого ничем никогда не наполнишь! – отвечал, понявши ее, отец Зосима.

– Истинно верую в слова твои, – начала она опять, успокоившись. – Помнишь ли, праведный отче, когда ты искал покровительства моего от обид двинских жителей. Я владею близ страны, тобой обитаемой, богатыми селами, но я отказала тебе во всякой помощи. Теперь совесть, раскаяние мучит меня.

– Человеку долженствует помнить одно добро; тебя смутил искуситель в образе неверного литвина. Прости меня, боярыня. Хоть ты и чтишь его своим суженым, но истина руководствует мной, и я вторично повторяю устами ее: «отжени от себя врага, удались от зла и сотвори благо».

Она сидела с поникшей головой.

– И тогда неправеден был гнев твой, – продолжал Зосима. – Вспомни, сколько щедрот своих излил на тебя законный князь твой: все имущество твое, золото, серебро, камни дорогие и узорочья всякие, поселения со всеми землями и угодьями остались сохранены от

алчбы вражеского меча; жизнь твоя, бывшая подле смерти, искупилась не чем иным, как неподкупною милостью великого князя московского. Сверх того, сын твой Дмитрий также не обойден был ею и пожалован знатным титулом боярина московского. Чего же недостает ненасытности твоей?

Глаза Марфы блеснули из-под вновь приподнятого ею покрывала.

Было заметно, что напоминание о прошедшем затронуло слабую струну ее сердца.

– Но где же сыновья мои? – воскликнула она. – Один под черным рубищем муромского монаха, быть может, скитается без приюта и испрашивает милостыню на насущное пропитание; другой, – жалованный боярин мой, – под секирой московского палача встретил смертный час! Это ли милость великокняжеская!

Она перевела дух.

– Я призвала тебя и одарила богато, чтобы посоветоваться, как отвратить общую напасть, грозящую всему Новгороду, а ты, пробудив во мне заснувшую было ненависть к мучительнице-тиранке – Москве, заставля-

ещь еще каяться за то, что я люблю отечество свое и не меняю его перед гонителем сына моего, меня самой, моей родины! Нет. Марфа не укротится, не посрамит себя!

– Многое я сказал бы тебе на слова твои, – прервал ее отец Зосима, – но ты, несомненно, слышала уже слова владыки нашего Феофила, а мне остается только домолвить. Я призываю цель твою, меня не смутят козни любимого твоего Болеслава Зверженовского. Вы хотите властвовать! Но помните: кто выше станет, тот быстрее падет! Любовь всякая, как и твоя к родине, бывает часто слепой. Если ты не желаешь видеть света истины, то отпусти меня – я более не нужен тебе – и дары твои оставь при себе: они тяжелы, не по силам моим.

– Тебя любит народ. Как молитвы твои доступны слуху Всевышнего, так и увещевания на подвиги бранные воспаляют сердце каждого новгородца против врагов отчизны! – начала было умилять его Марфа.

– Я не вижу их! – сказал он равнодушно, вставая со своего места.

– Так благослови же хоть меня на это! – вы-

говорила с заметной досадой огорченная Марфа, поспешно вставая со скамьи.

– Отныне и до века благословляю и заклинаю тебя именем Вездесущего Свидетеля всех дел и помышлений наших, и всеми святыми угодниками новгородскими, и матерью-заступницей нашей, святой Софией, только на добрые дела! – произнес торжественно Зосима и вышел.

– Гордый монах! – прошептала Марфа и в волнении начала ходить по светлице.

III. Клятва

Шаги отца Зосимы не затихали на чугунном полу узких сеней терема Борецкой, как Болеслав Зверженовский – незнакомец, разговаривавший со сторожем, – вошел в противоположную дверь светлицы Марфы, блеснув своим коротким полукафтanjem и ножками кривой польской сабли.

– Здравствуй, боярыня! – сказал он мрачно с заметным неудовольствием в голосе, низко и почтительно кланяясь хозяйке.

– А, это ты, пан! – ласково приветствовала она его, хотя выражение ее теперь почти от-

крытого лица носило следы только что пережитого душевного волнения. – Ну, что нового? Я давно поджидаю тебя!

– Свет наш состарился: что же искать в нем нового? – коротко отвечал он.

– Ночь уже очернила его, теперь он не белый, а во мраке, и в этих случаях, по моему мнению, новостям должен быть урожай, – с ударением на каждом слове проговорила Марфа, усаживаясь на скамью.

– Ты, боярыня, сама была окружена за последнее время чернотой, от которой не спасет тебя и свет, а во мраке – новости мрачные; не спрашивай же о них!

– Что замышляешь ты сказать мне? – озабоченно спросила она, не поняв или не желая понять его намека. – Или худой оборот приняли наши дела, или мало людей на нашей стороне? Возьми же все золото мое, закидай им народ, вели от моего имени выкатить ему из подвалов вино и мед... Чего же еще? Не изменил ли кто?

– Никто, все идет хорошо! – спокойно отвечал Болеслав, садясь возле Борецкой по данному ей знаку.

– С чего же ты такой озабоченный, пасмурный?

– Не дух ли сына твоего, Феодора, до меня являлся проститься с тобою? – ответил он ей вопросом.

– Нет, это был чтимый Зосима, муж разумный, но... несколько... не знаю что и сказать о нем.

– Не в нем дело! – раздраженно прервал он ее. – Ты давно не видала своего сына?

– С тех пор, как московские тираны выволокли его в цепях из родных стен и принудили постричься в Муроме; напрасно я старалась подкупить стражу, лила золото как воду, они не выпустили его из заключения и доныне, не дозволили иметь при себе моих сокровищ для продовольствия в тяжелой иноческой жизни... Но к чему клонится твой вопрос? Нет ли о нем какой весточки? – с трепетным волнением проговорила она.

– Боярыня! – торжественно, громко произнес Зверженовский, поднимаясь с лавки, – будь тверда! Ты нужна отечеству. Забудь, что ты женщина... докончи так, как начала. Твой сын уже не инок муромский, не черная влася-

ница и тяжелые вериги жмут его тело, а саван белый, да гроб дощатый.

– Как?.. он... второй?

– Его домучили... Сегодня я узнал об этом достоверно от одного муромца, очевидца его последних минут. Но будь тверда...

Трудно описать выражение лица Борецкой при этом известии; оно не сделалось печальным, взоры не омрачились, и ни одно слово не вырвалось из полуоткрытого рта, кроме глухого звука, который тотчас и замер. Молча, широко раскрытыми глазами глядела она на рокового вестника, казалось, вымаливала от него повторения слова «месть».

Зверженовский с злобной радостью, казалось, проникал своими сверкающими глазами в ее душу, но также молча вынул из ножен саблю и подал ее ей.

– Значит, ты понял меня? – произнесла она хриплым, сдавленным голосом.

Он кивнул головой и, сложа руки на груди, вопросительно глядел на нее.

– Клянусь острием этой сабли, клянусь кровью и прахом сыновей моих, я изнурю себя, лишусь своего имущества, но уязвлю гор-

дыню московского князя под стенами Новгорода, или пусть погибну под ножами его клеветников, – торжественно произнесла Марфа, размахивая саблей, и глаза ее блистали как сталь, которую она держала в руке.

Картина была достойна великого художника: хитрый поляк с сверкающими злобной радостью глазами, с шершавой головой и смуглым лицом, оттененным длинными усами, казалось, был олицетворением врага и искушителя человечества, принимающего исповедь соблазненной им жертвы.

– Через мой труп перешагнут на тебя твои враги, боярыня, – хвастливо произнес он, – а победа надо мной достанется им дорого.

– А если она будет на нашей стороне?

– Тогда гуляй мечи на смертном раздолье! Весь Новгород затопим вражеской кровью, всех неприязненных нам людей – наповал, а если захватим Назария, да живьем еще, я выдавлю из него жизнь по капле. Мало ли мешал он мне, да и тебе, ни на вече, ни на встрече шапки не ломал. А Захария посадим верхом на кол, да и занесем в его притон – Москву. Нужды нет, что этот жирный бык не бода-

ется, терпеть нам его не след.

– А после, – с восторгом начала Марфа.

– А после, – прервал он ее, – после тебе в руки жезл правления... Казимир твоя правая, а я – левая рука...

Борецкая дико, радостно захохотала.

– Ты... ты, – произнесла она, тихо переводя дух, – ты будешь моим, я твоей... жизнь поделим поровну.

Вдруг в древнем Херсонском монастыре, на Хатуне, заныл колокол, брякнул несколько раз и опять замолк; только ветер, разнося дождевые капли, стучавшие по окнам, гудел как труба – вестница чего-то недоброго.

Злоумышленники вздрогнули и переглянулись между собой.

– Что бы это значило? – почти шепотом сказала Марфа. – В глухую ночь кто может взойти звонить на колокольню? Кажется, нам не слышалось?

– Нет, это, должно быть, ветер шевельнул колоколами, – отвечал Зверженовский с расстановкой, прислушиваясь. – Вот опять стало тихо.

– Однако, это не даром... мне что-то жутко!

Уж не бунт ли затевается? Кажется, рано. Не предупредил ли нас кто-нибудь?

В это время на дворе заскрипела калитка, залаяла собака и послышались голоса входивших на двор людей.

– Бабушка, бабушка! Мне страшно, не спится что-то, да и грезы все такие страшные, будто ты, – заговорил сквозь слезы, дрожа всем телом, вбежавший десятилетний внук Борецкой, сын ее сына Федора Исакова.

– Что ты, Васенька, чего испужался? – прервала его Марфа, лаская мальчика. – Что такое тебе привиделось?

– Да вот, будто, ты, да пан этот, – ребенок указал рукой на Зверженовского, – хватаете меня мохнатыми руками и хотите стащить с собой в яму, оттуда тятенькин голос слышится, да такой слезливый, и он, будто, сидя на стрелах, манит меня к себе. Кровь из него ручьем хлещет, а глаза закатились. Мне не хотелось прыгать к нему, да вот пан этот так на меня глянул, что я не вспомнил, сотворил крестное знамение, зажмурился, прыгнул, вскрикнув, и проснулся. Вокруг меня темно, и, кажись, наяву, представился мне опять тя-

тя, поглядел на меня так жалобно, к вам сюда кулаком погрозился и пропал. Я хотел выговорить молитву: силюсь, да не могу. Тут оглушил меня звук колокола... Отец-то мой давно уж мне грезится...

– Полно, полно, позабавься, да полакомься гостинцами... и все пройдет, – в смущении заговорила Марфа и высыпала в подол его рубашки из коробки всяких сладостей.

Ребенок ушел с пришедшей за ним нянькой.

– Должно, это наши стучат по стенам, а то бы рабы твои остановили незваных гостей! – радостно сказал Зверженовский, заметно ободрившись.

– И впрямь наши, – отвечала Марфа и вместе со своим гостем перешла из gridsницы в соседнюю советную палату.

Там, действительно, уже были налицо все их соплеменники: сам тысяцкий Есипов, степенной посадник Фома, посадник Кирилл, главный купеческий староста конца Марк Памфильев, из живых людей[3], Григорий Куприянов, Юрий Ренехов в другие старосты концов: Наровского, Горчанского, Загородско-

го и Плотницкого, некоторые чтимые в Новгороде купцы, гости и именитые, наконец, такая же знатная и богатая вдова, как и Марфа, Настасья Ивановна, которая хвасталась, что великий Иоанн, в бытность свою в Новгороде в 1475 году, ни у кого так не был роскошно угощен, как у ней.

IV. Среди спасителей отечества

После взаимных приветствий жданные гости разместились по широким лавкам.

Первая начала Марфа, обратившись к тысяцкому Есипову:

– Что, велемудрый боярин, соглашается ли с нами народ? На нашей ли улице праздник?

– Пока еще будни на нашей улице, боярыня, вот что скажет завтра. Золото, серебро и вино действуют; в хмельном разгуле народ побушевал, потолокся на площади, да и разошелся по домам, – отвечал Есипов.

– Теперь время действовать словами. Вон Феофил как опешил толпу велеречием своим, все пали ниц и заныли об отпущении вины, – заметил посадник Фома.

– Да, он все дело на свой лад настроил, да

черно на душе его, так и всем будет: сладко во рту, да горько на сердце отрыгается! – вставил свое слово Зверженовский.

– Я сама завтра явлюсь перед народом. Он еще помнит меня и поминает, – начала было Марфа.

– Проклятием, – перебила ее Настасья Ивановна. – Я сама слышала намердни, как поносили тебя, боярыня, кляли, позорили того, кто послушает твоих наветов и обещались вымести телом пристанника твоего Софийскую площадь, если он только покажется на ней.

– «Слова без дел, что лук без стрел»! – ваше же русское присловие! – обиделся Зверженовский. – Таковы новгородцы; а как услышат, что земляки мои наготове напасть на москвитян – заговорят другое. Они как рыбы – в худую погоду ищут глубины, а в ясную любят поиграть на солнце.

– Надобно непременно пустить слух, что Казимир стоит за нас и рать его уже выступила против москвитян, – поспешно сказала Марфа.

– Да их, вашу братию, новгородский народ не стал терпеть за обманы и называть челя-

динцами, голой Литвой, блудливыми кошками и трусливыми зайцами! – заметил один из старцев.

– Небось, на нашей стороне еще много людей, а золото, ласковые слова и обещания перетянут хоть кого. Завтра попробуем счастья новыми посулами, подмажем колеса, и все пойдет ходче, – с веселым, беззаботным смехом произнес Зверженовский.

Слуги в это время внесли и поставили на столы яства и пития, и между долгими разговорами и совещаниями началась попойка. Болеслав Зверженовский, съев конец сладкого пирога и оросив его крепким русским медом, воскликнул первый:

– Многолетие тебе, Марфа Борецкая, нынешняя боярыня и будущая княгиня новгородская.

– Многолетие, многолетие! – подхватили все, и гордая жена, встав, начала раскланиваться во все стороны.

Вдруг ударил колокол, другой, и благовест разлился по всему городу.

Все встрепенулись, как вороны, почуя кровь, думая, что это призыв к бунту и убий-

ствам, но вскоре опомнились, и тысяцкий Есипов сказал:

– Чу... утреня... пора и по домам...

– Нас давеча изумил еще дальний колокол в самую полночь, так завыл, что мы, шедши к тебе, боярыня, индо пригнулись к земле, – вставил один из гостей.

– Да, сильна непогода на Софийском храме, говорят, бурей крест сломило, – добавил другой.

– Ахти! – воскликнул третий, – это, братцы, помяните мое слово, не к добру...

– Ты бы сидел между баб и точил им веретена, когда, ничего не видя, начинаешь уже трястись как осиновый лист, – оборвал его Зверженовский.

Все засмеялись, иные от души, а иные и нехотя вслед за другими.

– Горожане! братия! – начала снова Марфа. – Время наступает, отныне я забываю, что нарядилась женщиной, прочь эти волосы, чтоб они не напоминали мне этого, голова моя просит шлема, а руки меча; окуйте тело мое доспехами ратными, и, если я немного отступлю от клятв моих, залейте меня живую

волнами реки Волхова, я не стою земли.

– И мы тоже! – подхватили все.

– Завтра поступаем по общему условию!

– Утро вечера мудренее, – говорили между собою, расходясь, гости.

– Каково же завтра проглянет день?

«Что-то темно! Уж не суждены ли нам вечные сумерки», – думали робкие, и скоро чудный дом Марфы опустел и замолк как могила.

На одном конце стола, покрытого длинной полостью сукна, стоял ночник: огонь трепетно разливал тусклый свет свой по обширной гриднице; на другом конце его сидела Марфа в глубокой задумчивости, облокотясь на стол. Ее грудь высоко вздымалась. Печаль, ненависть, злоба, сомнение о сыновьях сверкали в ее глазах.

– Итак отныне я не женщина, – воскликнула она. – Прочь же эти уборы!

Она сорвала с головы своей покрывало, и две длинные косы, иссиня-черные, как вороново крыло, расплелись и скатились волнами на ее могучие плечи.

Когда волнение ее несколько улеглось, ей представился отец Зосима с коротким и вме-

сте укоряющим взглядом. От сердца ее отлегло, на душе стало светлее и слеза умиления скатилась из ее глаз.

Она вздохнула было с облегчением, но вдруг ее взор упал на лезвие сабли, забытой Болеславом Зверженовским.

Вид этой сабли снова напомнил ей все.

Она схватила косу и мгновенно обрезала ее.

«Свершилось!» – пронеслось в ее голове.

V. Новгородская бивальщина

Багровая заря вошла на небо и бросила свой красноватый отблеск на землю. Настало раннее утро. Погода была переменчива. Порой ветер разгонял облака и показывалось солнышко, то опять оно заволакивалось тучами, черным саваном повисшими над Новгородом.

Снова, как и вчера, ударили в вечевой колокол со двора Ярославова, и пронзительный звук его разлился по окрестностям. Народ, только что успокоенный накануне Феофилом, не знал, как и разгадать причины нового призыва на общественный совет. Улицы заволно-

вались, и ропотный шум толпы все усиливался и усиливался на Софийской площади.

Около самых ворот веча, осажденных со всех сторон народом, стоял старик с длинной, седой как серебро бородой, в меховой шапке с куньей оторочкой и длинными подвязными наушниками, зипун на нем был серый, на овчинном подбое, в руках держал он толстую, суковатую палку, с широким литым набалдашником из меди. Хотя морщины складками облегли его лицо, но глаза, из-под седых нависших бровей, горели огнем юности, особенно когда он, рассказывая про былую старину окружавшим его любопытным, приправлял свой рассказ разными прибаутками, присказками и присловьями и, переносясь на много лет назад, подражал молодецким движениям.

– И что за времена настали нонеча! – говорил он. – Чуть враг за лишком – и поникнут головами так низко, что шапка валится. Со страха, вестимо, искра кажется больше полымя. Износил я на плечах своих десятков семь с золотником годов, и изучился видеть, что черно, что бело. Бывало, кто не слышал, кто не

видал Новгорода Великого далеко? Тот город то-то привольный, то-то могучий! – говаривали и немчины, и литвины, и все иноземные людины: ганзейцы и мурмане, гречины и татары, бывшие в нем не как врага, а как гости, – любили заглядываться на позолоченные главы церквей его, разгуливать по широким улицам и любоваться на площадях и в балаганах всеми товарами заморскими! Тут раскиданы и меха пермские, и полотна фламсендские, и ковры персидские, и соболи сибирские, и камки хрущатые, и бахромы золотниковые, и всякие снадобья хитротканные, и седла азиатские, и камни самоцветные, и жемчуга бурлицкие, и уздечки поборные, и всякие узорья выписные. Всего грудями навалено было перед чужеземными зеваками – отдай деньги и бери добра сколько хочешь, сколько можешь.

В мирное время задает всякий пир на весь мир! Отъедайся, отпивайся душа, ходи стена на стену, али заломи набок шапку отороченную, крути ус богатырский да заглядывайся на красоточек в окошечки косячатые; затронул ли опять кто, отвечай огнем, да копьем,

да стрелами калеными, прослышат ли про караван ливонский, али чей-либо ненашенский – удальцы новгородские разом оскачат его, подстерегут и накинутся с быстротой соколиной раскупоривать копиями добро, зашитое в кожи, а меж тем – косят часто головы провожатых, как маковинки. Бывало, одурь возьмет, как давно нет дела рукам; ну что, сиди на печи, да гложи кирпичи – разучишься и шевелить мечом; ждешь, не дождешься, когда-то грохнет вечерой колокол, а уж как закатится, любо сердцу молодецкому, вспрыснет его словно живою водою радость удалая. Уж так забьется, так заскачет ретивое, как конь необъезженный в чистом поле, того и гляди, что выскочит в пригоршню. А бились мы с Чудью и с Ямью, и с своими, и с чужими, и морем, и сухим путем, и Наровою, и Волгою, и по Нову-озеру неслошь наше ополчение на несчетных судах. На кого наскочили, тот разведывайся; куда пришли, там и дома. В Кострому ли, в Тверь ли, в Ярославль ли, под Астрахань ли богатую, рады не рады – принимайте гостей, выносите калачей на золотых блюдах, на серебряных подблюдниках, выка-

тывайте бочки медов годовалых и чокайтесь с ними зазванными пирами; а если хозяева попросят расплаты, рассчитывайся мечами, да бердышами, да бери с них сдачи ушами да головами, а там снимай, удалая дружина, и мчись восвояси. А где лихой народец, как примером сказать бы в ближних пригородах ливонских, да еще где застанешь его не врасплох и выступят против тебя хозяева-то в железных обручах, да начнут пересыпаться с гостями своим свинцовым горохом, затепливай скорей его лачугу со всех четырех сторон и тут-то вот и привольно бывает погреться: шум, гам, гик, вопль, стены трещат, рушатся, растопленное железо рекой течет, а люд словно воск тает. Натешилась душа, и заливай пожараще вражеской кровью; ведь как булат разогреется, от него пар валом валит, острие притупится хлестать по телам да по костям, а еще хочется. Ведь это не то, чтобы мы напраслинно нападали на соседей, и они при случае не спустят. Обоз ли отбит у наших, девушек ли захватит, золота ли без счета пограбит, да передувши стариков и малых детей – это им обычно; да не удавалось проклятым в частую,

как нам приходилось, напрашиваться не в любые для них гости. А как опять мировая, так и мы бывало придерживаемся присловья: «В поле враг, дома гость, садись под святые[4], починай седову; в лесу – кистенем, а в саду – огурцом». И ведется речь любезно, и ходим об руку попарно, и любуются, не насмотрятся наши гости, как красуется град наш, а в нем рдеют девицы красные, да разгуливают молодцы удалые, и бросаются им всякие диковинки редкие, и стали звать, прозывать его давно-предавно, чуть прадеды помнят, и чужие и свои славным, богатырем, Великим Новгородом.

Взоры слушателей, впившиеся в рассказчика, сверкнули огневой отвагой, а старик, откашлянувшись, продолжал:

– И ноне придерживаются этого старики, да не обеими руками, с тех пор, как Иоанн московский залил наши поляны родной нашей кровью. Все как-то пошло на разлад: старики шатаются от старости, молодые трясутся от страха, а родина гибнет. Молодечество[5] иные стали считать делом зазорным, а по силе грамот отнимать – это им нипочем. Укажи-

те-ка мне, кто теперь поспорит, постоит и словом, и делом, и языком, и плечом за отчину. Разве один Чурчила с своими удалыми удальцами! Если бы ономясь не отшатнулся бы он добывать добра в Ливонию, в замок Гельмст, попятил бы московскую дружину так, что некому было бы и до Москвы добежать. Он хоша и не словесен, да рука-то его речиста, что твой кистень.

– Краснобай ты, старинушка, но кривы уста твои, да нас-то по что изобидел ты? Чем мы не молодцы? Загуди только труба воинская, все побратаемся скинуть головы свои или вражеские, выменять на косную жизнь, на славную смерть! – воскликнули окружавшие старика.

– Все красно, ребятушки, да не так как солнце! – возразил он. – Прежде бывало, московские князья засылали к нам гонцов и велеречиво просили через них подмоги. Дмитрий Иоаннович не знал, как чествовать нас, когда на Куликовом поле чetyредесять тысяч новгородцев отстаивали Русь против поганой татарвы, хоть после и озлобился на нас, что мы въяве и без всякого отчета стали придер-

живаться своего самосуда, да делать нечего, из Москвы-то стало пепелище, так выжгли ее татары, что хоть шаром покати, не за что зацепиться; кой где только торчали верхи, да столбы, да стены обгорелые. Видно, понадобилось ему золото новгородское – подступил. Мы не прочь, выбирай любое: деньги али битву. Взял первое, да и пошел отстраиваться, а к нам-то татары никогда и ноги не заносили неприязненно. Соберем дань, пошлем в Москву, и разделявайся ей московский князь с ордой, как рассудит. Нынешний-то лих что-то, а то, бывало, указывали мы путь обратный и московской в литовской дружинам; вольница-то новгородская не очень робела и тех и других. Как послышим: поднимается на нас враг – и в ус не дуем; каждый новгородец накинёт шапку молодецки на одно ухо, подпрется и ходит козырем; по нем хоть трава не расти, готов и на хана и на пана! Вам грозят, а на вече голосят: не спугнешь ножами, когда ножа не боимся. Впервые, что ли, нам слушать угрозы московские? Кассы наши полны, закрома тоже, да и железное снадобье отпущено. Что нам? Мы своих боярей имеем, нам

свои грамоты оставлены Ярославом Великим, ссылаемся на них, да на крепкие головы земляков своих – и с нами Бог, умрем за святую Софию.

– И вестимо! – подхватили слушатели. – Московский князь нас не поит, не кормит, а нас же обирает: что ж нам менять головы на шапки. Званых гостей примем, а незваных проводим. Умрем за святую Софию!

VI. Чурчила

Гулко раскатились эти крики по площади и послужили как бы призывом для рослого и плечистого молодца. Он не вбежал, а скорее влетел в толпу.

Невысокая бархатная голубая шапка с золотым позументом по швам, с собольим околышем и серебряной кисточкой на тулье, была заломлена ухарски набок; короткий суконный кафтан с перетяжками, стянутый алым кушаком, и лосиная исподница виднелись на нем через широкий охабень, накинутый на богатырские плечи; белые голицы с выпушкой и кисой с костяной ручкой мотались у него на стальной цепочке с левого бока; чер-

ные быстрые глаза, несколько смуглое, но приятное открытое лицо, чуть оттененное нежным пухом бороды, стройный стан, легкая и смелая походка и приподнятая несколько кверху голова придавали ему мужественный и красивый вид.

– Чурчила! Чурчила! Отколе тебя Бог принес? Легок на помине!.. Ну, что, как живешь-можешь? – раздавались радостные приветствия в толпе.

– Да живется, братцы, как живется, а можетя, как можетя! – отвечал душа новгородских охотников[6], снимая шапку и раскланиваясь на все стороны.

– Где побывал, добрый молодец, что последним поспел на совет наш? – спросил его старик рассказчик.

– Земляки знают меня, – отвечал Чурчила, – на схватке я бываю не последним, а думаю раздумывать, сознаюсь прямо, не моего ума дело, да и о чем?

– Знаю тебя, отъемная голова! – заметил старик. – В кого ты уродился, – дедовский в тебе нор. Таков был и Абакунов при Дмитрие Иоанновиче, предводитель вольной шайки

новгородской; он тоже всегда молчал, зато красно и убедительно говорил его меч-кладенец.

– Таперича надо и раздумать, – вставил один видный парень из толпы. – Скажи, Чурчила, на какую сторону более склоняется твое ретивое?

– Вестимо, к родине лежит, – твердо ответил он, – и за нее куда придется, в огонь или в воду, в гору или в пропасть, за кем бежать и кого встречать, – я всюду готов.

– А мы за тобой! – воскликнули окружающие. – Хватайся, ребята, за палку, кинем жребий, кому достанется быть его подручным...

– Пойдите, не спешите, ваша речь впереди, – остановил их старик и, обратившись к Чурчиле, расправил свою бороду и сказал с ударением. – Ты, правая рука новгородской дружины, смекни-ка, сколько соберется на твой клич, можно ли рискнуть так, что была не была? Понимаешь ты меня – к добру ли будет?

Чурчила молчал.

Старик пристально посмотрел на него и добавил:

– Ведомо ли тебе, что весть залетела недобрая в нашу сторону? Московская гроза, вишь, хочет разразиться над нами мечами и стрелами, достанется и на наш пай.

– Так вы об этом призадумались, об этом разболтали языком вечевого колокола? – вместо ответа, с презрительным равнодушием спросил Чурчила. – Я ходил в Чертову лоцину, ломался там с медведем, захотелось к зиме новую шубу на плечи, али полость к пошевням, так мне недосужно было разбирать да прислушиваться: о чем перекоряются между собой степенные посадники.

– Подай, вишь, Москве на огнеметы[7] перелить наш колокол, да на сожженные законные грамоты наши, а после...

– Широко шагают, – вспыхнул Чурчила, прервав старика, – не видали мы их брата-супостата. Что нам вече – тинистое болото, в котором квакают лягушки, что им вздумается. За пригоршню золота да за десяток ядер отступятся от прав своих. Так что же вы, братцы, не рассудите до сих пор, – окинул он всех быстрым огненным ответным взглядом. – Мыто что-ж? Пусть их звонят, и колоколом и язы-

ками... Нам то любо. Слышь, трезвонят. Вот так, качай во всю и припляснуть можно!.. Что уж давно звонили?.. А свыклись мы с этим раздольным голосом: так и подступает к сердцу смертная охота рвануться на целую ватагу, – а то ведь и мертвым стало не в чем позавидовать живым. Облежались мы до пролежней без всякого дела... Давайте же руки, братцы, жмите крепче, до слез. Пусть бояре хитроумничают, а мы затеем свое дело... Кто за мной?

– Мы все за тобой, удалой молодец! – закричал народ, – пойдём мечи острить!

Толпа с воинственным криком кинулась вслед за Чурчилой, почти бежавшим по площади.

– Прямой сокол, – заметил, глядя ему вслед старик, – ретивое у него доброе, горячо предан родине... Кабы в стадо его не мешались бы козлы да овцы паршивые, да кабы не щипала его молодецкое сердце зазнобушка, – он бы и сатану добыл, он бы и ему перехватил горло могучей рукой так же легко, как сдернул бы с нее широкую варежку.

VII. Вече

На вече, между тем, в обширной четырехугольной храмине, за невысоким, но длинным столом, покрытым парчовой скатертью с золотыми кистями и бахромой, сидели: князь Гребенка-Шуйский, тысяцкий, посадники и бояре, а за другим – гости, житые и прожитые люди.

На столах были накиданы развернутые столбцы законов, договорных и разных крестоцеловальных грамот. Не всех желающих видеть это собрание, слышать совещание допускали внутрь веча, так как там уже и без того было тесно.

Два копейщика с секирами в руках охраняли двери, около которых на дворе и на площади, как мы уже видели, толпилось громадное количество народа.

Князи Василий Шуйский-Гребенка с тысяцким Есиповым, в бархатных кожухах с серебряными застежками, сидели на почетном месте в середине стола, возле них по обе стороны помещались посадники Фома, Кирилл и другие.

Марфа, важно раскинувшись на скамье с задком, в дорогом кокошнике, горящем алмазами и другими драгоценными камнями, в штофном струистом сарафане, в богатых запястьях и в длинных жемчужных серьгах, с головой полуприкрытой шелковым с золотой оторочкой покрывалом, сидела по правую сторону между бояр; рядом с ней помещалась Настасья Ивановна, в парчовом повойнике, тоже украшенном самоцветными камнями, в покрывале, шитом золотом по червачному атласу, и в сарафане, опущенном голубой камкой. Сзади них стоял Болеслав Зверженковский, в темно-гвоздичном полукафтани, обложенном серебряной нитью.

Вокруг них толпился народ, успевший проникнуть в храмину. Подьячий Родька Косой, как кликали его бояре, чинно стоял в углу первого стола и по мере надобности раскапывал столбцы и, сыскав нужное, прочитывал вслух всему собранию написанное. Давно уже шел спор о «черной, или народной, дани». Миром положено было собрать двойную и умилостивить ею великого князя. Такого мнения было большинство голосов.

Возражать встала Марфа Борецкая.

– Честные бояре и посадники! – сказала она. – Думаете ли вы этим или чем другим, даже кровью наших граждан, залить ярость ненасытного? Ему хочется самосуда, а этой беды руками не разведешь, особенно не вооруженными.

– Этого мы и в уме не хотим держать! – прервал ее Василий Шуйский, ее личный враг, но и верный сын своей родины. – Разве его меч не налегал уже на наши стены и тела? Я подаю свой голос против этого, так как служу отечеству.

– Он не служит, а подслуживает! – шепнул Марфе Зверженовский.

Последнюю обдало, как варом, несогласие с ней Шуйского.

– Князь, – воскликнула та, сверкнув глазами. – К чему же и на что употребляешь ты свое мужество и ум? Враг не за плечами, а за горами, а ты уже помышляешь о подданстве.

Князь Василий в свою очередь распалился гневом, заметя ее сношение с Зверженовским.

– Мы верили тебе, боярыня, да провери-

лись, – заговорил он. – И тогда литвины сидели на вече чурбанами и делали один раздор! Я сам готов отрубить себе руку, если она до временно подпишет мир с Иоанном и в чем-либо уронит честь Новгорода, но теперь нам грозит явная гибель... Коли хочешь, натыкайся на меч сама и со своими клеветами.

– Но и самосуда мы не потерпим! Сколько веков славится Новгород могуществом своим и каким же ярким пятном позора заклеим мы его и себя, когда без битвы уступим чужезванным пришельцам те места, где почивают тела новгородских защитников и где положены головы праотцев наших! – важно сказал Есипов.

– Боже сохрани и слышать об этом! – воскликнул Шуйский. – Первая рука, которая протянется за нашей хранительной грамотой, оставит на ней пальцы. Но зачем же самим заводить ссору?

– Да исчезнет враг! – раздались возгласы посадников и народа.

– Родька, – сказал тысяцкий, обращаясь к подьячему, – прочти-ка еще помедленнее запись великого князя.

Все снова ужаснулись и даже самые мирные граждане, расположенные к великому князю, повесили головы.

– Ишь, требует веча! Самого двора Ярославлева. Мы и так терпели его самовластие, а то отдать ему эти святылища прав наших. Это значит торжественно отречься от них! Новгород судится своим судом. Наш Ярослав Великий завещал хранить его!.. Месть Божья над нами, если мы этого не исполним! Московские тиуны будут кичиться на наших местах и решать дела и властвовать над нами! Вот мы предвидели это; все слуги – рабы московского князя – недруги нам. Кто за него, мы на того!

– Проклятие, проклятие двоедушным косязычникам Назарию и Захарию. И когда мы общались через них с московским князем? Это голья лишь! Анафемы! Сам владыко произнес это.

– Да что владыко? Он за князя подает голос, стало быть, против нас!

Такие были разнообразные возгласы народа, подстрекаемого Марфой и ее сообщниками.

Лишь немногие члены веча задумчиво молчали.

Начавшийся нестройный шум голосов вызвал владыку Феофила, который, пробравшись сквозь почтительно расступившуюся перед ним толпу, воскликнул:

– Необузданные мятежники! Зачем же вы звали вы меня из моей смиренной кельи на позорище мятежа? Нет вам моего благословения; делайте, что хотите. Горе вам, непослушные! на начинающих – Бог!

Голос его был заглушен дикими криками, и он быстро удалился, всплеснув руками.

– Суетливая земля! – был его заключительный возглас.

Тогда воспрянула Марфа. Шуйского она не так опасалась, как Феофила, но, заметив и к последнему холодность народа и победу горластых сообщников, она громко и оживленно заговорила:

– Настало время управиться с Иоанном! Он не государь, а лиходей наш. Великий Новгород сам себе властелин, а не его вотчина. Казимир польский возьмет нашу сторону и не даст нас в обиду, митрополит же киевский, а

не московский, даст архиепископа святой Софии, верного за нас богомольца.

Эти слова вызвали у толпы восторженные крики одобрения, начало которым дали, конечно, клеветы Марфы Посадницы.

VIII. Бунт

Между людьми, не принимавшими сторону бунтовщиков, находились: знатный муж Василий Никифоров, боярин Захарий Овин, брат его Кузьма Овин и несколько других, лично доброжелательно относившихся к Иоанну и ценивших его за ум и энергию. Они держали его сторону, и Василий Никифоров обратился к народу:

– Братья, одумайтесь, что вы замышляете? Изменить Руси и православию, поддаться иноплеменному королю, просить себе от еретика латышского святителя и этим накликать на себя и гнев Божий и государева правосудия меч? Вспомните, предки наши, славяне, вызвали из земли вражеской Рюрика, он княжил мудро и славно, что видно из преданий, а кровные потомки его более шести веков законно властвовали над Великим Новго-

родом. Истинной же и православной верой обязаны мы святому Владимиру, а от него прямо происходит и Иоанн, латыши же всегда были нам неверны и ненавистны. Рассудите: к кому же более должны мы обращаться сердобольно и молить о милостях?

Увидя, что эти слова Василия Никифорова, шедшие прямо из сердца, и крупные слезы, катившиеся на его седую бороду, начали трогать слушателей. Марфа, поддерживаемая своими, воскликнула:

– Ты, злой кудесник, давно связался с Ивашкой на погибель своих соотечественников и хитро ведешь свои сладостные речи, чтобы заманить и нас в свои сети. Исчезни, коварный старик! Да обратится на тебя все зло, которое ты готовишь нам.

– Да оглушит тебя гром Божий, жена дьявола! – громко заговорил было Василий Никифоров, но сам был оглушен восклицаниями:

– Не хотим Иоанна, да здравствует Каземир! Да исчезнет Москва!

Небольшая кучка защитников Иоанна отвечала криками:

– Не хотим Каземира! Да здравствует

Иоанн!

Марфа, выйдя с клеветами из храма на Ярославов двор, распорядилась рассыпать народу несколько четвериков пуль[8], раздать по оловяннику[9] меда на брата и подала знак, по которому туча камней полетела на ее слушников. Иные, сраженные, падали, другие разбежались, а крики толпы становились все громче.

– Хотим за короля, меч на Иоанна!

– Хотим к Москве православной, к Иоанну и отцу его Герантию![10] – прокричал на Софийской площади Василий Никифоров, насили выбравшийся на нее, расчистив себе путь мечом, но голос его остался без отголоска.

Явилась щедрая Марфа со своей челядью и обратилась к народу:

– Если вы, мужья, к великому позору Великого Новгорода, откажетесь биться с москвитянами, то ступайте сторожить и прятать имущество свое от разбойничьей роты Иоанновой; а мы, жены, пойдем на бойницы и будем защищать вас, робких мужей!

Народ или, вернее сказать, толпа бунтовщиков, возбужденная хмелем, стыдом, жаж-

дой мщения, остервенилась.

– Повели, боярыня, на кого нам? Что начать?.. Вольные новгородцы не посрамят себя!..

– Казнь изменникам! Они соглядатаи и предатели отечества! – воскликнула Марфа, указывая на Василия Никифорова.

В миг неистовая толпа ринулась на него, вцепилась в него десятками рук и потащила снова на вече, нанося чем попало ему удары.

– За что и куда потащите вы меня так позорно, как татя? – слабым голосом говорил мученик.

– Ты соглядатай, ты предатель, ты изменник, ты Иуда! – кричала толпа.

– Нет, видит Бог, я прав; кровь моя останется на вас и когда-нибудь сожжет ваши души, совесть заглохнет вас, богопротивники, и тебя, гнусная жена-змея!.. Я клялся Иоанну в доброжелательности, но без измены моему истинному государю, Великому Новгороду, без измены вам, моим брат...

Он не успел окончить. Убийственный топор звякнул, и голова его отскочила от туловища, и покатилась по песку, чертя по нему

кровавые следы. Некоторые дрогнули, другие же, остервенясь еще более, продолжали волочить по площади обезглавленное тело, схватили Захария Овина, брата его Кузьму и убили их обухом топора.

Оба умерли почти не вскрикнув.

Началась дикая расправа над их телами: толпа тешилась, рубя их на куски, и любовалась зрелищем, как эти окровавленные куски прыгали под саблями и топорами.

Бросились расхищать балаганы и лавки на Славковой улице. На дворе архиепископском тоже грабили и сажали в застенки[11] подозрительных людей, которых тут же без допроса и суда убивали.

Усталые от кровавой работы подходили эти люди-звери к выставленным для них догадливой Марфой чанам с брагой, медом и вином: кто успевал – черпал из них розданными ковшами, а у кого последние были вышиблены в общей сумятице, те черпали окровавленными пригоршнями и пили это адское питье, состоявшее из польской браги и русской крови.

Шум, ропот, визг, вопли убиваемых, за-

здравные окрики, гик, смех и стон умирающих – все слилось вместе в одну страшную какофонию. Ничком и навзничь лежавшие тела убитых, поднятые булавы и секиры на новые жертвы, толпа обезумевших палачей, мчавшихся: кто без шапки, кто нараспашку с засученными рукавами, обрызганными кровью руками, которая капала с них, – все это представляло поразительную картину.

– Ты что же, сокол, стоишь без дела и не бьешь изменников? Или и тебе крылья перешибли? – спросил знакомый уже нам старик-балагур, столкнувшись нечаянно с Чурчилой, томно и задумчиво смотревшим на ужасную картину побоища.

– Я люблю биться, а не бить! – ответил ему мрачно тот и, отвернувшись, быстро пошел в другую сторону.

– Постой, я понимаю тебя, молодец! Подумаем-ка вместе. Мы не этого ждали, – сказал старик, догоняя его.

Побоище продолжалось. Иной дрался поневоле. Быть безучастным зрителем было небезопасно, могли как раз принять за изменника. Не скоро руки палачей устали наносить

удары, наступивший вечер не разогнал их. Кто-то догадался посвятить им: зажгли дома убитых, и страшное пламя, откидывая на небо багровое зарево и наводя грозные тени на двигавшихся во мраке убийц, придавало этой картине вид еще ужаснее, еще поразительнее.

– Вот так в случае и весь город запалим! Пусть москвитяне поживятся головнями нашими вместо золота! – раздавались со всех сторон возгласы.

Марфа Борецкая со своей шайкой была на площади до позднего вечера, тайно прислушиваясь к все еще продолжавшимся крикам и стонам, результатам ее адской работы.

Все они то и дело натыкались на мертвые тела.

Болеслав Зверженовский, шедший рядом с Марфой, чуть было не упал, споткнувшись обо что-то круглое.

Он нагнулся и поднял за волосы голову.

Блеснувшее зарево осветило ее – это голова Василия Никифорова.

– Вот он, враг-то наш, у нас теперь не ослабляется, – со смехом произнес он, подно-

ся ее Борецкой.

Она взглянула. В закатившихся, полуоткрытых глазах мертвой головы она, почудилось ей, прочитала страшный упрек. Дрожь пробежала по всему ее телу. На лбу выступил холодный пот.

– Пора, давно уже ночь, – робко промолвила она, как бы пораженная нависшим над ней мраком, и быстро пошла по направлению к своему дому.

Взгляд мертвых глаз, казалось, преследовал и подгонял ее.

IX. В келье Феофила

Неистовства толпы еще продолжались несколько дней.

Вольный народ, то есть, чернь новгородская, перед которой трепетали бояре и посадские, бесчинствовала, пила мертвую, звонила в колокола и рыскала по улицам, отыскивая мнимых слуг и советников Иоанновых и расхищая у слабых последнее достояние. Дрались на смерть между собой из-за добычи.

Новгородские сановники, принимавшие вначале сами участие в бунте, опомнились

первые, хотя и у них в головах не прошло еще страшное похмелье ими же устроенного кровавого пира. Их озарила роковая мысль, что если теперь их застанут врасплох какие бы то ни было враги, то, не обнажая меча, перевяжут всех упившихся и овладеют городом, как своею собственностью, несмотря на то, что новгородская пословица гласит: «Новгородец хотя и пьян, а все на ногах держится».

Многие держались уже только на руках.

Задумались люди сановитые, стали собираться каждый день на вече, почесывали затылки, теребили свои бороды и, наконец, решили – бить челом владыке Феофилу, чтобы он благословил принять на себя труд голосом духовного слова не только успокоить неистовую толпу, но и запретить народу, под страхом проклятия, отлучения от церкви, гнева Божия и наказания, буйствовать и разбойничать.

Жребий вести речь владыке выпал на степенного посадника Фому, прочие же бояре и посадники решили сопровождать его. Не теряя времени отправились они пешком в смиренную келью архиепископа. Не доходя еще

до двери его, они обнажили головы, а войдя в нее Фома отделился от них, пошел вперед и обратился с просьбой к привратнику, чтобы он сказал келейнику, что бояре и посадники и все сановитые и именитые люди новгородские просят его доложить владыке, не дозволит ли он предстать им перед лицо свое и молить его скорбно и слезно об отпущении многочисленных грехов их перед ним.

Через некоторое время архиепископ Феофил вышел сам на крыльцо и строго обратился к ним:

– Да рассыплются племена нечестивые, ищущие брани, и будут поражены молнией небесной и, как псы голодные, лижут землю своими языками! Чего еще хотите вы от меня?

– Благодущный пастырь наш! – отвечал за всех Фома, преклоняя колена. – Человек рожден со страстями. Молим тебя, праведный, обрати гнев на милость, спаси Великий Новгород – он гибнет.

Слезы брызнули из его глаз, и он, окончив свою речь, низко опустил свою голову.

– Безумные, вы сами просили этого... Спа-

сение града нашего в руке Божьей. Покайтесь! Я могу только умиловать Его, соединяя свои молитвы с вашими, – заметил тронутый Феофил.

– Этого и жаждем мы, владыко святой. Возри на раскаивающихся, благослови начинание наше и помоги нам, – молящим тоном произнес Фома.

– Дети мои, – заговорил архиепископ тихим ласковым голосом, после некоторой паузы, обведя всех стоявших перед ним пронзительным взглядом, – знаю, что дух и плоть – враги между собой. Тесно добродетели уживаться в этом мире срочном, мире испытания, зато просторно будет в будущем, безграничном. Не ропщите же, смиритесь: претерпевший до конца спасен будет – говорит Господь. Но вы сами возмущаете, богопротивники, братьев своих и надолго ли раскаиваетесь?

Пристыженные сановники молчали.

Он продолжал:

– Думаете ли вы, что я не сочувствую вам в общей горести и гибели отечества? Разве забыли вы мои услуги ради его? Не я ли выпросил у московского князя гибнущие права на-

ши и настоял: быть Новгороду Великим? Вы сами положили начало той язвы, которой теперь страдаете. Сколько раз я внушал вам благие мысли: смиритесь – и все дастся вам, и успехом увенчаются дела ваши, а вы как исполняли слова мои, как угождали святой Софии? Разве так подобает защищать его – распрями и убийствами? Я сделал все, что возлагает на меня сан мой, рвение и любовь к отчизне. И мое сердце кипит любовью к ней под черной рясой, но я сомневаюсь в вас, в вашем послушании.

– Будем послушны вовеки, – воскликнули в один голос присутствующие и преклонили свои головы.

Архиепископ осенил их крестным знаменем и пригласил к себе для совещания.

Вечевой колокол все еще заливался, кровь лилась на площадях.

В одном месте черпали вино из полуразбитых бочек шапками, в другом рвали куски парчи, дорогих тканей, штофов, сукна и прочих награбленных товаров, как вдруг с архиепископского двора показался крестный ход, шедший прямо навстречу бунтовщикам;

клир певчих шел впереди и пел трогательно и умиленно: «Спаси, Господи, людей Твоих». Владыко Феофил, среди их, окруженный сонмом бояр и посадников, шел тихо, величественно, под развевающимися хоругвями, обратив горе свои молящие взоры и воздев руки к небу.

Пораженные как громом, бунтовщики окаменели и остались неподвижно в тех позах, в которых застало их это чудное видение.

Руки, державшие добычу, замерли на минуту, затем поднялись для молитвы, шапки покатались с голов, но толпа не смела поднять глаз и, ошеломленная стыдом, отшатнулась и пала на колени, как один человек.

Архиепископ, молча, не взглянув на народ, не удостоив его благословения и не допустив приложиться к Животворящему Кресту, прошел к соборному храму св. Софии, помолился у золотых ворот его. Так называются медные, вызолоченные ворота, по народному преданию, вывезенные из Корсуни или Херсонеса, — они находятся на западной стороне церкви, — знаменитая древняя редкость, сохранившаяся до последних дней.

После краткой молитвы у этих ворот процессия тронулась к городским стенам.

Х. Ответ великому князю

Прошло еще несколько дней. Софийская площадь очистилась. Мертвые тела положили на носилки и похоронили по христианскому обряду за городским валом, колокола замолкли, и вече перестало представлять собой простую мирскую сходку.

На первом месте в храме заседал архиепископ, возле него тысяцкий Есипов, князь Василий Шуйский, посадники Фома, Кирилл и другие. Марфа же с Настасьей Ивановной уехала посетить свои села, находившиеся вблизи Соловецкой обители.

Великокняжеского посла, боярина Федора Давыдовича, жившего на Городище с многочисленной дружиной, чествовали, как подобает, ни чем не обижали, только не допускали на вече и решились отпустить к великому князю с запиской от имени веча Новгородского.

– Люди новгородские! – сказал Феофил, – я написал ответную грамоту в Москву, остане-

тес ли вы довольны ею?

Подьячий Родька Косой начал громко читать ее, поглаживая свою бороду:

– «От Веча Великого Новгорода к Великому Князю Московскому и проч. ответная грамота:

«Кланяемся тебе, Господину нашему, Князю Великому, а государем не зовем. Суд твоим наместникам оставляем на стороне, на Городище, и по прежним известным тебе условиям; дозволяем им править делами нашими, вместе с нашими посадниками и боярами, но твоего суда полного и тиунов твоих не допускаем и дворища Ярославлева тебе не даем; хотим же жить с тобою, Господином, хлебосольно, согласно, любезно, по договору, утвержденному с обеих сторон по Коростыне, в недавнем времени».

«Кто же тебе предлагает быть государем нашим, Великого Новгорода, тех самих ведать, и то, как подобает наказывать за криводушие. Мы здесь также управились со своими предателями, и ты не взыскивай с нас за самосуд, данный нам предком твоим, Ярославом Великим, каковым мы нынче и восполь-

зовались, сиречь, в силу оного дозволения, не преступая нашей к тебе чтимости и покорности».

«Молим и взываем к тебе, Господин, всеусердно и всеуниженно: держи нас по старине, по крестному целованию; и мы всегда будем верными слугами тебе, и отчизне твоей Великому Новгороду».

Руки приложили: владыка Великого Новгорода, архиепископ Феофил, тысяцкий Ксенофонт Есипов, новоизбранник дьяк Тит, по реклу Остапов и проч.

– А если Иоанну не понравится наше послание? – заметил князь Шуйский, – чего должны ожидать тогда?

– Битвы, – почти в один голос отвечали Есипов, Фома, Кирилл и другие.

Архиепископ задумчиво молчал. Он чувствовал, что не уговорить ему своих сограждан к безусловному подданству, да и самому тяжело было решить все лишь в пользу Иоанна.

– Но в силах ли мы бороться с ним? – понизив до шепота голос, промолвил дьяк Ксенофонт.

Никто не отвечал.

– А уж когда он одолеет нас, – прибавил он, – много резни будет, досыта насытится меч его кровью новгородской. Надобно чем-нибудь отвести эту грозу великую, черную...

– Красную, кровавую и непреодолимую, – продолжал его мысль посадник Фома. – На нас она покатится, над нами и разразится! Тогда я первый не скрываю своего намерения поддаться Литве.

Молодой парень, слушавший с прочим народом мнения бояр, стоял в углу храма и давно уже с досады кусал губы и рвал оторочку своей шапки.

Последние слова о подданстве Литве, произнесенные Фомой, заставили его вздрогнуть. Он сбросил с себя охабень и быстро вышел вперед, окинул всех присутствующих орлиным взглядом своих глаз, сверкающих и блестящих, как полированный лист.

– Владыко святой, – начал он взволнованным голосом, – и вы все, разумные, советные мужики новгородские, надежда, опора наша, неужели вы хотите опять пустить этих хищников литовцев в недра нашей отчизны? Ска-

жите-ка, кто защитит ее теперь от них, или от самих вас? Разве они не обнажили уже не раз перед вами черноту души своей, и разве руки наши слабы держать меч за себя, чтобы допускать еще завязнуть в этом деле лапами хитрых пришельцев?

– Мальчик! – возразил ему Фома с заметным неудовольствием, – что же ты нашел противного в литовцах, что у них волчьи зубы или лисьи хвосты?

– И то, и другое, чтимый муж, если хочешь, чтобы мальчик вразумил твои седины! – отвечал ему гордо молодец.

– Чурчила, ты забываешься, так иди же вон отсюда немедленно! – закричали в один голос Фома и Кирилл.

– Уйду и унесу с собой ретивое, которое бьется любовью к родине так же сильно, как рука эта будет вертеть головы ваших заступников – челядинцев, и это так же верно, как то, что я называюсь Чурчилой! – сказал пристыженный и взбешенный витязь Новгорода и, натянув голицу свою, сжал кулак и быстрыми шагами вышел из веча.

– Я говорил тебе, что этот мальчик вреден

и языком и кулаком своим Новгороду. Слава Богу, что я это узнал вовремя! – заметил нахмурившись Фома Кириллу.

– Он пылок, но добр. Однако здесь не время и не место объясняться о нем; теперь приходится всякому думать о себе, – с досадой ответил ему Кирилл.

– На сей раз довольно! – сказал владыко, вставая со своего места.

На его лице ясно отпечатывались следы глубоких дум.

Все встали за ним.

Колокол ударил несколько раз, означая окончание заседания, и народ, трепетно, с каким-то вещим, недобрый предчувствием смотрел на бояр, тихо и задумчиво расходящихся по домам.

XI. На берегу Волхова

Ярко и весело светил месяц на землю, звезды при нем чуть искрились, то пропадали, то снова сверкали в темной синеве горизонта, как резвые рыбки в чистой воде блистают своей серебристой чешуей.

В Новгороде ярко горели огни, но мрак вечера давно уже сгущался; наступила ночь, светлая, роскошная. Огни один за другим стали потухать, и скоро вечно живой город, слившись с горизонтом в один бледный свет, затих и заснул.

На берегу реки Волхова сидел, пригорюнившись, добрый молодец. С правой стороны его стоял оседланный конь и бил копытами о землю, потряхивая и звеня сбруей, слева – воткнуто было копьё, на котором развевалась грива хвостатого стального шишака; сам он был вооружен широким двуострым мечом, висевшим на стальной цепочке, прикрепленной к кушаку, чугунные перчатки, крест-накрест сложенные, лежали на его коленях; через плечо висел у него на шнурке маленький серебряный рожок; на обнаженную голову си-

девшего лились лучи лунного света и полуосвещали черные кудри волос, скатившиеся на воротник полукафтана из буйволово́й кожи; тяжелая кольчуга облегла его грудь.

Он молчал и лишь порой затягивал какую-то заунывную песню, глядя пристально и печально на Новгород и считая рассеянно волны, бившиеся о берега.

Вдруг ему послышался приближающийся от города звук конских копыт.

Он приложил ухо к земле – звук слышался явственнее, и конь его насторожил уши. Вскоре показался конник, осматривающий окрестности, как бы на поисках. Заслышав шорох у берега, всадник свернул туда своего коня, взгляделся на полулежавшего молодца и, радостно вскрикнув: «Чурчила!», соскочил с лошади и заключил его в свои объятия.

– Пстой, Дмитрий, ты задушишь меня, как слабого ребенка, – заговорил Чурчила (это был он) в свою очередь дружески обнимая прибывшего, – я и так насилу дышу: у меня на сердце камень, а в душе – сиротство несчастное!

– Так вот как поступают наши задушев-

ные-то! – воскликнул Дмитрий. – Помчался ты, как вихрь, невесть куда, и не сказал мне прощального слова! Бог тебе судья, Чурчила! А мы с тобой еще побратались на жизнь и смерть! Что я тебя обидел, что ли, чем, словом, или делом, или косым взглядом?

– Не кори меня ни тем, ни другим, брат названный, – вздохнул тяжело новгородский витязь. – Чудно тебе показалось отбытие мое из родного края, особенно же тогда, когда уже сковался я кольцом обручальным, но я еще чуднее дело поведаю тебе...

Крупная, как градина, слеза, скатившись по щеке его, разбилась о кольчугу.

– Да что ты, богатырская косточка, неужели и впрямь заплакал как баба? О чем же? Расскажи скорей, не терпится!

– Эх, замолчи молодецкое сердце! – заговорил снова Чурчила, ударяя себя в грудь. – Дай вымолвить тоску-кручину другу закадычному! Нет, я весел, Дмитрий, право, весел, как этот месяц, – продолжал он, прикидываясь веселым. – Да о чем тосковать? Красоток много на белом свете, а милая-то хоть и одна, да что ж? Если забыла она слово клятвенное, не в

омут же бросаться от этого, чертям в угоду.

Он улыбнулся, но эта улыбка была скорее болезненной гримасой.

– Так-то это так, – отвечал в раздумье Дмитрий, – да вот мне невдомек: во-первых, я тебя не узнаю, ты ли это Чурчила-сокол, кистень-рука, веселый, удалой, всем пример, который, бывало, один выходил на целую стенку? Во-вторых, удивительно мне, как могла разлюбить тебя Настенька, новгородская звездочка? Хоть родитель ее, степенный посадник Фома Крутой, и впрямь крут, да твой родитель, Кирилл, тоже посадник, не хуже его, они же с ним живут в превеликом согласии; издавна еще хлеб-соль водят, так как и мы с тобой, бывало, в каждой схватке жизнь делили, зипуны с одного плеча нашивали, да и теперь постоим друг за друга, хоть ты меня и забыл, помощника своего, Дмитрия Смелого!

– Пстой, брат, не язви меня, дай передохнуть – все выскажу.

Глубоко и тяжело вздохнув, Чурчила начал:

– Ведомо тебе хлебосольство и единодушие

отца моего с Фомой и то, как они условились соединить нас, детей своих; помнишь ты, как потешались мы забавами молодецкими в странах иноземных, когда, бывало, на конях перескакивали через стены зубчатые, крушили брони богатырские и славно мерились плечами с врагами сильными, могучими, одолевали все преграды и оковы их, вырывали добро у них вместе с руками и зубрили мечи свои о черепа противников? Бывало, радость привольная охватит удалых такая, что десятью языками не сможешь рассказать о ней. А тот восторг, который чувствовал я в душе при взгляде на мою суженую, когда благословили нас Пречистой, когда вложили руки ее в мою и наказали нам жить в любви и согласии, – восторг, вознесший меня на седьмое небо!.. Ах, Дмитрий, если бы ты знал, если бы ты мог знать, как билось мое ретивое!.. Бывало и смерть была мне близкой соседкой, и острие меча мелькало перед самыми глазами, но я не пугался: отобьешь его, да свое запустишь по самую рукоять – и прав – и понесся далее, а тогда... О! Нет, не умею!.. Какая она была красивая, как понимала меня!.. Как хотела

нежить мою буйную голову на коленях своих!.. Настя, добрая, милая моя Настя!

С этими словами он крепко сжал руку Дмитрия и упал головой к нему на грудь, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, которых он стыдился.

Раздались сначала тихие, а потом громкие рыдания.

– Не одна она, и я понимаю тебя, добрый друг! – говорил Дмитрий, обнимая Чурчилу.

– Да, теперь ты у меня остался один, один на всем белом свете; теперь он почернел для меня: «Отсветила звезда моя, отсветила приглядная, покрылась саваном, небо туманное»... Как это дальше-то поется эта песня, которую сложил Владимир-утопленник?

– Полно, не обманывай ни себя, ни меня: до песен ли тебе, лучше расскажи, как поется дальше твоя песня...

– Слеза смысла пятно тоски задушевной, как будто я поделился ею с тобой! Отлегло немного от сердца. Слушай же далее! Я, как водится, с большим поездом сватов и дружек, стал ездить к невесте своей разгульно и весело!.. Пирьы у нее на столах высились горами,

напитки лились рекой, и назначили уже день, когда совершить наше благословенное дело. Этот день был торжеством для всего народа, день памяти по святой Софии, к которому отец Насти Фома, хотел совсем приготовиться. Все шло своим чередом: старики наши отдались радости и руками и ногами, а дружки и все гости всей головой, пили они как на заказ, а мы... да что и говорить, так было привольно всем!.. Вдруг, точно ворон накаркал беду на нас бедных, нагрянул гонец из Москвы – и все пошло прахом. Дорога мне моя Настя, не возьму я за нее всего мира подлунного, но родина... Сожму ретивое, заставлю молчать его и променяю бесценную мою, стотысячную, на бесценнейшее сокровище – отчизну... После пусть сам умру бесчисленное число раз, не проживу мига без нее, зато на душе не будет зазорно.

Чурчила молодецки потрянул своими кудрями.

Дмитрий молча слушал исповедь друга.

– Ты знаешь клеветов Марфиных, – продолжал тот. – Они, в том числе и Фома, зачинщик всему делу, задумали опять подчиниться

Литве, а у нас с тобой никогда не лежало сердце к этой челяди. Я, услышав об этом, прорвался в думскую палату и горячо заговорил с Фомой. Не понравилось ему это, рассерчал он на меня и обозвал обидными словами. Я тоже и при отце своем, и при всех советных мужиках задал ему такую отповедь, что пристыдил его и тем накликать на себя немилость и ненависть. Когда же сердце мое отошло, остыло от обид его, я спохватился. Отец мой принял его же сторону и послал меня повиниться перед ним. Я тотчас ринулся туда, куда душа моя давно просилась, и стал молить его забыть обоюдные распри наши и покончить скорей начатое дело.

Чурчила перевел дух.

– Когда бы ты видел, как он расвирепел на меня! «Одно условие, – рывкнул он как зверь, – и я прощу тебя и назову сыном: приходи завтра на вече и на коленях при всем собрании вымоли у меня прощение вины твоей. Да еще согласись на все помыслы наши: преклони голову перед прибывшими литвинами, и, всячески их приветствуя, моли заступиться за родину. Иначе выкинь из головы

когда-либо называться моим сыном, да и дочь моя выбрала уже себе другого суженого». Слова эти затронули меня за живое. «Ползают одни гады, – отвечал я ему резко, – а приветствовать литвин я должен не языком а мечом. Когда бы им посчастливилось добыть меня живьем и, загнув голову, держать нож над горлом, и тогда бы не стал я унижаться и чествовать их, просить пощады у заклятых врагов наших!» – «Так если же ты когда-либо занесешь ногу свою через подворотню мою, – завопил он, – я затравлю тебя лихими псами». – «Да я и не захочу встречаться с тобой, ты злей их облаиваешь», – сказал я ему, как отрезал, и так сильно захлопнул за собой калитку, что ворота затряслись и окна задрезжали.

– А что же отец?

– Отец мой напустился тоже на меня за то, как посмел я дерзко речь вести с чтимым посадником, близким его товарищем, зачем не уступил ему, не согласился на его условия. К жару добавил он еще жару. Я не стерпел. – «Значит, вы одной шайки!» – Больше не мог я выговорить ни слова, выбежал на перекресток и начал клич кликать. – «Верные мои мо-

лодцы-сотоварищи, кто хочет со мной рискнуть за добычей далеко, за Ново-озеро, к Божьим дворянам[12], того жду я под вечер в «Чертовом ущелье», – а сам вскочил на коня и не смел обернуться назад, чтобы косящатое окошечко Фомина дома не мигнуло бы мне привычным бывалым и не заставило вернуться, да пустился сюда, как на вражескую стену, ожидать...

Не успел он договорить эти слова, как вблизи послышался конский топот. Явилось множество всадников, броня которых сверкала при трепетном блеске луны. Раздался звон оружия, когда они, соскочив с коней, окружили своего удалого предводителя.

– Ну, теперь прощай, друг! – сказал Чурчила, крепко обнимая Дмитрия. – Она забыла меня! Но ты вспомни меня, умру не умру, а помчусь рассеять тоску-кручину или прах свой!

– Как! – воскликнул Дмитрий, – и ты думаешь, что я пущу тебя одного без себя. Да мне и большой Новгород покажется широким кладбищем.

– Нет, Дмитрий, – сказал Чурчила, – не

рискуй, у тебя дряхлый отец. Прости!

Закинув на руки поводья, он прыгнул в седло и вмиг исчез со своей дружиной.

Дмитрий остался один.

– Да ведь отец мой любит больше копить сокровища, чем дорожит сыновней любовью, – задумчиво говорил он сам себе, вспоминая последние слова Чурчилы. – Ты покинул меня, так я тебя не покину, – воскликнул он.

Луна скрылась в это время за облако и скрыла его погоню за своим другом-братом.

XII. В доме Фомы

В день столкновения Чурчилы с посадником Фомой последний не возвращался домой из думной палаты до позднего вечера.

В доме посадника еще никто не знал о происшедшей ссоре жениха с отцом невесты, а потому по обычному порядку в дом к нему собрались на свадебные посиделки девушки – подруги невесты, которая еще убиралась и не выходила в приемную светлицу. Гости, разряженные в цветные повязки, с розовыми лентами в косицах и в парчовых сарафанах, пе-

ли, резвились и играли в разные игры, ожидая ее.

Скоро по извилистой лестнице, ведущей в эту светлицу, раздались стуки костыля и в дверях показалась, опирающаяся на него, сторбленная старушка в штофном полушубке, в черной лисьей шапке и с четками в руках.

Девушки, завидя ее, оставили игры и, бросившись ей навстречу, закричали:

– Ах, Лукерья Савишна, матушка! – подхватили ее под руки и начали с нею шутить, приглашая побегать, да поплясать с ними.

– Ох, полноте, резвуньи, – говорила старуха, садясь в передний угол, кряхтя от усталости и грозясь на них костылем, – у вас все беготня, да игры, а я уж упрыгалась, десятков шесть все на ногах брожу. Поживите с мое, так забудете скакать, как стрекозы или козы молодые. Да где же мое дитяtko, Настенька-то?

– Она еще не выходила, а мы уже давно собрались жениха да гостей встречать хоть издали, – сказала одна из девушек.

– Пожалуй, мы вместо ее тебя повеличаем, Лукерья Савишна? – промолвила другая, – за-

петь, что ли?

– Пошли же вы, – отвечала старуха, – про-
величайте тогда, когда мне скоро уж запоют
вечную память!

– Полно, что ты, Христос с тобой, Лукерья
Савишна! Разве на свадьбе о похоронах дума-
ют? – закричали все девицы, всплеснув рука-
ми.

– Да к тому уже время подходит, милые
мои молодницы! – со вздохом произнесла ста-
руха, задумчиво чертя по полу своим косты-
лем. – Только бы привел Бог при своих глазах
пристроить Настюшу, тогда бы спокойно
улеглись мои косточки в могилу, – добавила
она прослезившись.

– Да полно же, перестань, так ты на нас
тоску наведешь. Повеселимся-ка лучше! – за-
говорили девушки.

– Нет, это ведь я так к слову молвила, жаль
дитятко стало, разлучают нас с ней, некому
будет мне и глаза закрыть. Фома Ильич, Бог
его ведает, как начал опять на вече ходить,
и не подступишься к нему, такой мрачный
стал. Спросишь что, – зыкнет да рыкнет, так
поневоле не радость на уме-то, как обо всем

подумаешь. Прежде я и сама не такая была: в посиделках ли на пиру ли, на беседе ли, на масленой ли в круговом катании, о святках ли в подблюдных песнях – первая я закатывалась. Плясать ли пушусь – выступаю плавно, подопрусь рукой, голову набок, каблучками пристукну, да как пойду, пойду – все заглядываются...

Не успела Лукерья Савишна договорить свои воспоминания, как в комнату, в сопровождении сенных девушек, вошла невеста. Настасья Фоминишна была красивая, стройная блондинка, с белоснежным лицом, нежным румянцем на щеках и темными вдумчивыми глазами, глядевшими из-под темных же соболиных бровей. Недаром по красоте своей она считалась «новгородской звездочкой». Этой красоте достойной рамкой служил ее наряд. Атласная голубая повязка, блистающая золотыми звездочками, с закинутыми назад концами, облекала ее головку; спереди и боков из-под нее мелькали жемчужные поднизы, сливаясь с алмазами длинных серег; верх головы ее был открыт, сзади ниспадал косник с широким бантом из струистых раз-

ноцветных лент; тонкая полотняная сорочка с пуговкой из драгоценного камня и пышными сборчатыми рукавами с бисерными нарукавниками и зеленый бархатный сарафан с крупными бирюзами в два ряда вместо пуговиц облегли ее пышный стан; бусы в несколько ниток из самоцветных камней переливались на ее груди игривыми отсветами, а перстни на руках и красные черевички на ногах с выемками сзади дополняли этот наряд.

Девушки кинулись к ней навстречу, окружили ее и повели к старушке, припевая всем хором:

*Шла девица, голубица,
Свет наш, Настенька,
По крылечку, по тесову
Да по коврику.
Она шла, переступала,
Приговаривала:
Как роскошно, как богато
Здесь у батюшки;
Как приглядно, торовато
У родного мне.
Славно птичке поднебесной,
Резвой ласточке,*

Порхать по полю чистому,
По зеленому,
Красоваться, любоваться
Светлым ведрышком,
Быстро виться, расстилаться
По поднебесью.
Так и Настеньке талантливой
Быть век девицей
Притаманней и привольней,
Чем молодушкой!
Вдруг откуда ни возьмись
Да навстречу ей
Идет молодец красивый
Словно писанный.
Ясноокий и румяный,
Кудри черные,
Он приветит ее речью
Сладкогласною:
Ты куда, моя девица,
Настя-звездочка?
Воротися, дай мне руку:
Я твой суженый!
Хорошо тебе, раздольно
В отчем тереме;
А с милым другом милее
Жить во бедности.
Мы согласно и советно,
По-любовному,

Не увидим, как промчатся
Годы многие.
Настя дрогнула, смутилась
И потупилась.
Ее щеки жаром пышут,
Разгораются,
Ретивое бьется сильно,
Колыхается;
Словно сладкий мед вливают
Речи молодца,
И разнежася вздыхает
Тяжко, сладостно;
Исподлобья и украдкой
На него глядит
И с стыдливою ухваткой
Говорит ему:
Суженый – возьми девицу, —
Полюби меня,
И сверкнула на ресницу
Жемчугом слеза.

В то время, когда девушки приветствовали невесту этой песней, она была в объятьях своей матери и, слушая с удовольствием приятные для нее напевы, скрывала на груди Лукерьи Савишны свое горящее лицо. Затем, как бы очнувшись, она начала целовать по одной ночке своих подруг.

– Что это?.. На дворе уже давно вечер, а жениха нашего все нет как нет. Да и отец что-то запропастился на вече. Ну что ему там делать с ранней зари да доселе. Ведь всех не пере-кричать! – сказала старушка-мать.

– Уж не приключилось ли с ним чего недоброго? – заметила дочь, не спуская глаз с окошка.

– Кому? – спросила мать, смеясь, – отцу или жениху? Кто для тебя дороже?

Настя смешалась и молчала. Лишь после довольно продолжительной паузы вымолвил:

– Оба они неоцененны для меня, матушка, но батюшка дороже, он родитель, кормилец мой.

– Полно пустословить, Настюша! – перебила ее мать. – Я по себе это знаю: бывало, сидя наверху, да взаперти в своей девичьей светлице, как хочется найти такого человека, который бы вынес тебя оттуда, как заговоренный клад, и как он после того становится нам дорог. Вот мы с отцом твоим, так признаться сказать, не всегда ладили, норовом-то он крутенек и теперь. Сперва звались мы «голубка-

ми», хотя подчас и грызлись как кошка с собакой, а после он прозвал меня сорокой-трещоткой, – ведь вот какой обидчик. Да, впрочем, я ему сама не спускала: он меня за косу, я его за бороду – отступится поневоле. Я еще скромна, не все высказываю. Да что же ты, Настенька, призадумалась? Девицы, гряньте-ка песенку, да погромче какую, только не заунывную, что душу тянет, а так – поразгульнее, повеселей... Я и сама подтяну вам.

Старуха запела дребезжащим голосом:

*Отставала свет-лебедушка
Прочь от стада лебединого...*

– Да ты уж, кажись, и плакать собралась?.. О чем это?.. Да, да, мы расстанемся с тобой, неоцененное мое дитяtko! Отдаю я тебя в чужие люди! Осиротеет мы обе!

– Полно, родная, мне и без того моченьки нет, что-то так тяжело взгрустнулось, так вещь замерло, и сама не знаю о чем! – отвечала, всхлипывая, дочь.

О чем?.. Ну, вестимо, о чем, что долго суженого нет? Вот придет он – дам я ему себя знать!

– Да придет ли он, матушка?.. Что-то во мне и веры нет! Я сегодня сон видела, злое-щий такой...

– Я сама – тоже. Будто отец твой, муж мой, обратился в медведя, еще страшнее стал, да и...

– Вот кто-то подъехал... Чу, уже и голос раздается в снях. Должно быть, это они! – закричали девушки, и мать с дочерью, несмотря на то, что последней вменялось в преступление самой показываться жениху, бросилась встречать долгожданных гостей.

Девушки между тем запели:

*Вылетал сокол ясный на долину,
Он искал соколицу, девицу,
Он сыскал себе...*

– Анютка! Палашка! – кричала старуха своим девкам. – Ступайте, бегите скорей принимать кульки с гостинцами от жениха! Накрывайте столы. Пойте, пойте, девицы!

Девушки заливались.

Вошел Фома с несколькими незнакомцами.

– Что это? – Угрюмо проговорил он. – Чего

вопите? Гасите светцы и замолкните, теперь не до вас!..

– Как! Да что это ты затеял? – подхватила Лукерья Савишна, пятясь от него и раскинув удивленно руки. – Зачем гасить светцы да замолкать песням? Что ты ворожить или заклинать кого хочешь в потемках? Так ступай в свою половину, а в наши дела, жениха принимать, не вмешивайся.

– Жених сегодня не будет! – грубо буркнул Фома и стал усаживать своих гостей, из которых один пристально и жадно глядел на бледную томную Настю.

– Чтобы тебе самому принудилось, старому лешему! – проворчала про себя старуха. – Почему же? Что же ему сделалось? Не хворает ли он и помнит ли слово клятвенное? – пристала она к мужу с вопросами уже вслух.

– Нечистый его знает и с тобой-то, отвязись от меня! – закричал на нее Фома.

– И ты от меня со своей челядью сгинь с глаз долой! – не осталась в долгу Лукерья Савишна.

– Баба! – крикнул еще громче Фома. – Я вижу, у тебя волос длинен, да и язык не короток,

замолчи, а не то я его совсем вытяну или укорочу.

– Да что ты взаправду рассерчал и озлобился на меня без причины, уж нельзя и слова вымолвить! Мы ждали жениха, а не тебя с этими, сразу понизила она тон.

– Чурчила более не жених моей дочери! Слышишь ли? Теперь о нем более ни слова. Скажи это Насте, чтобы и она не смела более помышлять о нем.

Старуха всплеснула руками, а Настя, сама услышав свой приговор, дико взглянула на отца изумленными, помутившимися глазами и бледная, как подкошенная лилия, без чувств упала на пол.

– Что ты, варвар старый, что ни слово, то обух у тебя! Батюшки светы! Сразил, как ножом зарезал, дитя свое... Разве она тебе не любя? – кричала и металась во все стороны Лукерья Савишна, как помешанная, между тем, как девушка вспрыскивала лицо Насти богоявленской водой, а отец, подавляя в себе чувство жалости к дочери, смотрел на все происходившее, как истукан.

– Что же теперь хорошие люди скажут? Вот

сердечный твой сынок старший, Павлуша нелюдимый, знать более тебе по нраву пришелся! Тебе нужды нет, что он день-деньской шатается, да с нечистыми знается. Нет же ему моего материнского благословения! От рук он отбился, уж и церковь Божию ни во что ставит! Или его совесть заела, что он туда ногу не показывает? Или его нечистые заколдовали? Или сила небесная не пускает недостойного в обитель свою? Намедни он, – вопила старуха.

– Что ты отходную, что ли, читаешь дочери? – мрачно сквозь зубы прервал ее Фома, сурово сдвинув брови.

– Ах ты, мои родные! Сгубил тебя варвар, мою крошечку!.. Заплатит ему Бог, – стала бы-ло причитать Лукерья Савишна, но силы ее оставили и она, в последний раз всплеснула руками, как сноп упала возле дочери.

XIII. В Чертовом ущелье

Почти на краю Новгорода, далеко за Московскими воротами, был обширный пустырь, заросший крапивой и репейником. Вокруг него торчали огромные рогатые сосны, любимое пристанище для грачей, ворон и хищных зверей, в середине находилось ущелье, прозванное «Чертовым», – в нем под горами хвороста и валежника водились всякие гады: змеи и ужи.

Недалеко от него стояла маленькая избушка с соломенной крышей и с двумя прорезями маленьких окон. Покосившаяся от времени дверь, сколоченная из трех досок, поминутно билась и скрипела на крючьях, то отворяясь то затворяясь.

Предание об этой избушке было недоброе.

Старожилы уверяли, что они и не помнят, кто построил ее. Место это обегали испокон века, и только запоздалый путник решался идти мимо него, да и то в некотором отдалении, осеняя себя крестным знамением.

Рассказывали, будто дверь избушки, бьющая, как подстреленная птица крылом, была

движима нечистой силой, которая нарочно заманивала любопытных внутрь избушки, откуда уже они никогда не возвращались.

Молва шла далее и утверждала, что в ней жил чернокнижник, злой кудесник, собой маленький старикашка, а борода с лопату и длинная, волочащаяся по земле; будто вместо рук мотались у него железные крючья с когтями, а ходил он на костылях, но так быстро, что догонял ланей, водившихся в окружности. Днем он не показывался, заклятый еще святителем Ионой Новгородским, а по ночам прогуливался, если не на костылях, то верхом на огненном козле, и с таким пронзительным свистом, раздававшимся по всему лесу, что распугивал всех хищных птиц, притаившихся в гнездах. Птицы выли, стонали и били крыльями страшную тревогу по всему лесу.

Солнце глянуло своими лучами сквозь серые облака на мрачные ели и сосны и зарумянило «Красный холм», находившийся перед самой избушкой «Чертова ущелья». «Красным» он был назван потому, что под ним злой кудесник погребал свои жертвы, и в известные дни холм этот горел так ярко, что от-

брасывал далеко от себя красное зарево.

На этом холме сидели двое.

Один из них – человек мрачного вида, в нательном тулупе и в нахлобученной на глаза шапке из черных овчин, волосы его, черные как душа закоренелого убийцы, были нечесаны и взъерошены и высывались ключьями из-под шершавой шапки, так что трудно было догадаться, где кончается овчина и где начинаются волосы. Кудрявая борода, смуглое лицо, кушак, кованный из чугуновых колец, на котором висели заржавленные ножны, – ножом же он шаркал по бруску, – лежавшая подле него рогатина – все это показывало в нем, если не хозяина сего места, то достойного его жильца, обыкновенно называемого «придорожным удальцом».

Вид его белокурого товарища был менее свиреп, но все-таки у постороннего зрителя могло сразу сложиться убеждение, что они: два сапога – пара.

– Прощай же, Семен! – говорил задумчиво черный.

– Видно, ты далеко на добычу хочешь отправиться! Куда это? Что-то давно я вижу те-

бя таким сумрачным и что-то обдумывающим, – спросил его белокурый.

– Куда мне надобно! – уклончиво ответил тот.

– Слушай, Павел Фомич, – начал Семен, – грех тебе таиться от товарища, который мыкается с тобой одной жизнью, готов на ткнуться за тебя на нож и копье.

Помолчав немного, Павел отвечал:

– Так и быть, поведаю тебе, что ни на есть мое задушевное. Мне скучно на родине, тесно в большом городе, люди не ласково смотрят на меня, да и сам я не люблю никого из них, словно рожден быть не человеком... Ты знаешь, как я ненавижу Чурчилу, и вот за что: до него я слыл на кулачном бою первым бойцом и удальцом, но он раз меня сшиб так крепко, что я пролежал замертво целые сутки, а ты знаешь мой норов: или ему, или мне могила, без того жить не хочу. Ты знаешь и то, что случилось в нашем семействе. Если бы он не повздорил с отцом моим и свадьба их с сестрой состоялась бы, я уж готовил ему подарок в заздравной чаре... Но говорить теперь некогда. Он далеко ищет смерти, а я из стремени

ноги не вытащу до тех пор, пока не найду его и не помогу ему в этом, то есть не всажу ему нож в горло. Он думал видеть во мне брата и обходился со мной всегда очень любезно, тем легче будет мне втереться к нему в доверие. Давно бы выслал я его с белого света, да за него здесь заступников много, а там, где он теперь скитается, верней и лучше найдется рука на его шею. Сам знаешь, грозен враг за горами, но грозней за плечами. А ты оставайся здесь рыскать по ночам за добром с прочими товарищами. Прощай, конь мой далеко, руки чешутся.

С этими словами Павел быстро вскочил на своего коня и исчез, мелькнув раз-другой в чаще деревьев.

– Вот оно что! – удивленно развел руками Семен, вытаращив глаза вслед удалявшемуся товарищу.

Оставим на время наших героев, дорогой читатель, вернемся для объяснения некоторых описанных в предыдущих главах исторических событий за некоторое время до этого, причем заглянем в московское княжество.

XIV. Терем под Москвой

Тихо, мертвенно было в природе. Черные тучи густо обложили горизонт, изредка лишь мерцали на нем редкие звездочки, но и те одну за другой заволакивали дождевые облака.

Ночь уже совершенно спустилась на землю и покрыла ее как бы черным траурным крепом; молния изредка разрывала тучи, но этот мгновенный пожар неба еще более сгущал сумрак, висевший над землей.

Громовые раскаты долго и яростно звучали в пространстве.

Был конец августа 1477 года.

В нескольких десятках верст от Москвы и на столько же почти в сторону от большой тверской дороги стоял деревянный терем, окруженный со всех сторон вековыми елями и соснами. При первом взгляде на него можно было безошибочно сказать, что прошел уже не один десяток лет, когда топор звякнул последний раз при его постройке. Крылья безостановочного времени не раз задевали его и оставили на нем следы свои. Добрые люди

давно не заносили ноги через его порог.

Путники, застигнутые ночью или непогодой на большой дороге, редкие не знали, что на ней находится приятный шинок, содержащийся одним жидовином, по прозвищу Загреба, славившимся в то время на всю окрестность молодой брагой и молодой женой, которая была весела и так же гулива, как брага и щеки которой были так же пышны и румяны, как поджаренные блины ее мужа.

Недобрые тоже давно не прокладывали следов к этому терему, зная, что в нем, кроме ветра, хозяйничавшего по жидням, ловить было некого, да и поживиться, кроме живших в нем старика и старухи, было нечем и не у кого.

Терем этот, огороженный высоким бревенчатым забором, разделялся длинными сенями на две неровные половины. Меньшая из них, состоявшая из одной светлицы, была занята упомянутыми стариками, а большая, по слухам, обитаемая нечистой силой, стояла закрытой большою железной дверью, сквозь которую продеты были двойные заклепы, охваченные огромным замком с заржавленной

петлей.

Шесть долгих зим провели в том необитаемом тереме старик Савелий с женой Агафьей; недаром говорят, что привычка долго ли, коротко ли, а обращается во вторую природу: старики были довольны своей судьбой и друг другом. В последнем бывали исключения лишь тогда, когда Савелий, побывав в Москве за харчами, соблазняясь на обратном пути елкой, гордо торчавшей над дверью шинкаря Загребы, ласково и умильно манившей к себе конных и пеших путников, заезжал будто ненароком к хозяину шинка спросить: «нет ли какой ни на есть работенки?» несмотря на то, что жидовин при всякой надобности всегда сам присылал за ним.

Савелий при этих посещениях не был обносим ковшом пенистой браги, а при выходе из шинка пазуха его всегда топырилась доброй краюхой пирога с капустой, данной ему на дорогу или в гостинец Агафье Сидоровне.

После такого задабривания гостеприимный Загреба уж и не спрашивал Савелия: можно ли ему в пределах леса, вверенных последнему, рубить дрова для варки браги и пе-

чения пирогов.

Только Агафья-то Сидоровна всегда недовольная встречала своего муженька, заметив, что у него лицо осело, как ее праздничная кичка, а ноги и язык, видимо, заплетаются. Он же с похмелья был недоволен женой, когда она своим ворчанием прерывала его вместе грустные и сладостные воспоминания так недавно минувшего.

В сущности они жили дружно, хотя и не припеваючи.

В описываемый нами поздний вечер, зажженная лучина, воткнутая в железный светец, слабо освещала Савелия, сидевшего на скамье; возле него лежал готовый лапоть, другой он плел, спеша закончить его к утру на продажу. Напротив него Агафья дремала под однообразное жужжание веретена, а последнему вторил сверчок за печкой.

Старики молчали.

Вдруг молния облила своим пламенем оконце светлицы.

– С нами крестная сила! – воскликнула Агафья, перекрестясь и выронив из рук веретено.

– Упаси Господи, какая гроза наступает! –

сказал Савелий, также осенив себя широким крестом.

Вслед за громовым ударом забушевал ветер и полил проливной дождь: лес дрогнул, деревья порывисто закачались своими вершинами.

– Сидоровна, – сказал Савелий, – заслонка окно-то ставнем, а то задует лучину.

Старуха поплелась, но только лишь подошла к окну, как в него ворвался порыв ветра, лучина вспыхнула и потухла. Вместо нее ослепительно блеснула молния и осветила окнами движущиеся фигуры людей.

– Батюшки светы, что это? – воскликнули в один голос старики, – пораженные такой массой неожиданностей, но раскат грома заглушил их слова.

– Эй, кто здесь живет, добрые люди или не добрые? Укройте от темной ночи и непогоды заблудившихся! – раздался у окна громкий голос.

– Да поскорей! – поддержал другой, хрипловатый, дрожащий, видимо, От холода голос.

– Бабка! Вдувай огня! – заговорил Савелий, придя в себя, – а я побегу отворить воро-

та.

– Как бы не так, вздувай огня! – передразнила Агафья мужа вполголоса. – Да кого это нелегкая принесла в такую пору. Стану я светить всяким бродягам. По мне они хоть все глаза повыколи себе о рожны, поberi их нелегкая!

– Или хозяев нет, или они нехристи какие, что не могут пустить нас на часочек обогреться да обсушиться? – повторял за окном хрипловатый голос.

– Да что попусту толковать... Ишь – ни привету, ни ответу... Если бы они были добрые люди, то сами бы позвали нас, а со злыми считаться нечего! – прервал его громкий голос. – Если совсем нет хозяев, то мы и без них обойдемся... Терем не игольное ушко – пролезем... Эй, люди, ломайте ворота, а я попробую окно...

По стуку ножен меча не трудно было догадаться, что говоривший спрыгнул с лошади.

– Иду, сейчас, вот только накину зипунишко! – закричал Савелий, струсив перед решительными поступками незваных гостей.

Через несколько минут, медленно скрипя,

растворились ворота, и Савелий вышел из них, тараща глаза, как бы желая рассмотреть сквозь окружающий густой мрак приезжих.

– Входите, вот сюда, за мной... Да много ли вас? – с тревогой спрашивал он.

– Всего четверо, – ответил ему громкий голос, ощупав его плечо и ухватясь за него, – авось углы твоей светлицы не разломаются от нас.

Остальные трое, введя на двор лошадей, ухватились тоже один за другого и, таким образом, медленно, гуськом, ощупью, вступили в обиталище Савелия.

XV. Поздние гости

— Да посвети нам, хозяин, нам не в прятки диграть; нет ли хоть на алтын огоньку! — заговорили приезжие, войдя в светлицу Савелия.

— Шарю... родимые... Куда впотьмах светец обронил? — отвечал с расстановкой хозяин. — Жена, баба, хозяйка! — продолжал он, — ты куда еще запропастилась? Вздуй-ка господам огоньку. Небось, они не тронут.

Молния блеснула и осветила Агафью, выползавшую как ящерица из-под печки.

— Ха-ха-ха! Видно хозяйка там цыплят высиживает! — захохотали приезжие, — ты бы крышкой закрыл, а то сглазят.

Молния повторилась. Агафья приподнялась с пола и, прокравшись по стенке к мужу, начала что-то шептать ему.

— Что? Не хочешь вздуть огня? Вот дам я тебе затрещину, так поневоле засветишь, как искры из глаз посыпятся, — отвечал, ей полусшепотом Савелий.

Агафья, ворча себе что-то под нос, отыскала трутницу, высекла огонь, вздула его на лу-

чину и осветила светлицу и находившихся в ней.

Четырехугольная, обширная светлица, вопреки своему названию, была закопчена, как угольная яма. В переднем углу, в божнице, стояло несколько икон в медночеканных окладах; под божницей висела запыленная занавеска, прикрывавшая полку, на которой лежали писанные святцы и четки из Богородицыных слез. В передней стене находились два узких продолговатых окна, называемые – красными. В рамах были вставлены стекла, – что для описываемого нами времени составляло значительную роскошь, так как они получались из чужих краев, – только кое-где, вместо разбитых верешков, была наклеена холстина, обмазанная маслом. В боковых стенах были волоковые окна, заткнутые говяжьими пузырями. Все это, как и колоссальная изразцовая печь, указывало, что светлица эта была некогда обитаема не Савелием с Агафьей, а ближними боярами великого князя.

По стенам светлицы были лавки, а в переднем углу стоял вымытый и выскобленный стол, в заднем, на двух столбах, стояло коры-

то, над которым находились полки с разной посудой.

Агафья, засветив огонь, стала у шестка, обтирая руки о полосатую поневу, и исподлобья оглядывала поздних гостей; невдалеке от нее Савелий был занят тем же самым.

Посредине светлицы стоял высокий, средних лет, мужчина, с открытым, добродушным лицом, в камлотовой однорядке, застегнутой шелковыми шнурками и перехваченной козылбатским[13] кушаком, за которым заткнут был кинжал. Широкий меч в ножнах из буйволово́й кожи, на кольчатой цепочке, мотался у него сбоку, когда он отряхивал свою мокрую шапку с рысьей опушкой. На ногах его были надеты сапоги с несколько загнутыми кверху носками; на мизинце правой руки висела нагайка.

Подле него стоял, недоверчиво озираясь, другой человек, постарше, низкорослый, но плотный, с редкой рыжей бородой, с широкой плешью на голове и с быстрыми маленькими глазами, одетый почти так же, как и его товарищ, исключая разве вооружения, которое у этого состояло из одного широкого ножа с се-

ребряной рукояткой.

На двух других были надеты простые, суровые охабни, но они были вооружены с головы до ног – видимо, это были холопы двух бояр.

– Ну, здорово, хозяева! – сказали пришедшие, помолясь в передний угол и слегка поклонясь Савелию и Агафье. – Не взыщите, что мы напросились к вам, нужда привела.

– Милости просим, бояре, рады гостям! – отвечали хозяева в один голос.

– За что взыскивать? – продолжал уже Савелий один, – мы по возможности рады приютить вас чем Бог послал от темной ночи и непогоды... Не знаю, как ваша милость прозывается.

– Меня зовут Назарием, а товарища моего – Захарием, – отвечал высокий. – А тебя как звать?

– Да был Савелий Тихонович!.. А далеко ли едете? – говорил Савелий, обтирая полою своего зипуна переднюю лавку и усаживая на нее гостей.

– Уж это не твое дело! – заметил Захарий, садясь и отдуваясь от усталости.

– Вестимо, не мое, боярин, я так, просто

спросил, – отвечал Савелий, кланяясь.

Он отошел в сторону и стал сложа руки.

– Вот думали-гадали сегодня до Москвы до-ехать, а вышло иначе! – заговорил Назарий. – Дождь загнал нас в лес; хотели укрыться под какое-нибудь дерево и проплутали, да уж слава Богу, что у тебя нашли в потемках ночлег.

– Человек предполагает, а Бог располагает, это искони ведется, боярин! – отвечал Савелий. – Известно, в лесу жутко. Теперь молния так и обливает заревом, а гром-то стоном стонет. Чу? Ваши лошадушки так и храпят, сердечные.

– Да, вот спасибо напомнил! Что ж вы, олухи, забыли про лошадей-то? – закричал Захарий, повернувшись к холопам, – самих вас выгнать на двор, пусть бы дождик доколотился до ваших костей, стали бы вперед заботиться о животных.

– Лошадей мы ввели сюда, на двор, боярин; а наше дело – не знали, куда их поставить! – ответил один из холопов. – Ведь, мы не дома.

– Хозяин, нет ли у тебя навеса какого для нас? – спросил Назарий.

– Как же, боярин, – отвечал Савелий, – там

позади сарай, в нем и моя клячонка стоит.

– Ну, что же вы глаза-то вылупили? Ступайте за хозяином! – снова закричал на холопов Захарий и стал что-то нашептывать своему товарищу.

Савелий зажег лучину и, прикрывая ее полюю, пошел было к двери, но Назарий вернул его вопросом:

– Слушай, хозяин, да много ли вас здесь живет в тереме?

– Мы с женой, боярин, двое только. Вот в Никитин день минет шесть лет, как мы здесь одни маемся; а прежде он стоял пустой, прах его возьми! А до того еще жили в нем.

– До прежнего нам дела нет... а теперь, не утаивая, все расскажи. Знай, что мы не поддадимся тем, кого ты скрываешь здесь; только тронь нас, вот ты же поплатишься головой и тех бородой своей не заслонишь... даром, что она широка.

– Да что ты, барин, кормилец, я хоть раб на белом свете, а меня добрые люди знают и ничем не ругают... Правда, парнишки шинкаревы трунят, да зубоскалят иногда надо мной: ты, дескать не лесничий, а леший... Намед-

ни...

– Врешь, проводишь вот как мы допросим тебя палашами, то не так заговоришь, – сказал прищурясь Захарий.

– А еще, похоже, добрые бояре! – отвечал Савелий, покачав головой. – Седые волосы мои порукой, что я не грешен перед Богом и добрыми людьми во лжи! Что же мне-то о вас думать?..

– Верим, верим тебе, старина! – сказал Назарий ласковым голосом, трепля его по плечу. – И ты поверь нам, что мы ни одной седины твоей не тронем, вот тебе правое слово мое.

– Да было бы за что и тронуть, – вмешалась в разговор Агафья, – ведь мы – москвичи, суд найдем: нас рабов своих, ни боярин наш, ни сам князь великий в обиду не даст всяким заезжим.

– Ого! Наконец, и ты каркнула, старая ворона. На чью только голову? – заметил Захарий, язвительно улыбаясь.

– Да в своем гнезде и ворона коршуну глаза выклюет, не прогневись, боярин, – поклонилась старуха.

– Слушай ты, лягушка! Перед чем ты расквакалась? Пикни еще, так я тебе засмолю пасть-то! Эка, невидаль – москвичка! А москвитяне-то все рабы!

Агафья струсила и замолчала, продолжая ворчать что-то себе под нос.

– Полно, товарищ, – сказал Назарий с недовольством, – ты не прав; лучше исследуем сами истину! Дедушка, посвети-ка нам до твоего сарая; чай, наши лошади продрогли.

Савелий молча и нахмуренно направился к двери, за ним следовали все четверо приезжих.

Захарий шел последним, недоверчиво оглядываясь на Агафью, как бы боясь преследований ее ухвата, опершись на который она стояла у шестка.

XVI. История терема

Захарий вернулся со двора раньше своего товарища и, убедившись в справедливости слов Савелия, не в пример храбрее вошел в светлицу. Агафья оказалась относительно его такой неласковой хозяйкой, что тотчас же убралась в сени после его прихода.

Захарий, пройдясь несколько раз по светлице, отошел к сторонке и, вынув из-за пазухи кожаную кису, зашнурованную ремнями на сборчатых кольцах, высыпал из нее на ладонь несколько серебряных монет, стал любоваться их блеском, видимо, обдумывая, куда бы получше спрятать свои сокровища.

Вошедший вслед за ним Назарий, доверчиво скинул с себя охабень, разложил его на лавку, подкинул под голову шапку и, приготовив, таким образом, себе постель, оглянулся на товарища.

– Эй, послушай, – заговорил он. – Как у тебя глаза-то приросли к деньгам: так и впился в них, что не оттянешь ничем! Сколько не пересчитывай, этим не прибавишь! Да и на что тебе больше? Их и так столько у тебя, что до

страшного суда не проживешь, а тогда от смерти не откупишься; черти же и в долг поверят, – по знакомству, – а не то на них настрочишь челобитную...

– Ты только зубоскалишь! – хмуро отвечал Захарий. – Чем бы дать добрый совет, да защитить товарища, а тебе все равно: ограбят ли его или прихватят горло... А я, кажись, почтеннее тебя, потому что постарше: не тебе язык чесать надо мной, – ты еще ползком ходил, а я уже заседал в думной палате.

– То-то и есть, ты от всех отпрыскаешься чернилами... А насчет добрых советов: я и тебе подаю его – спрячь-ка ненаглядные свои, они тебя вводят частенько в искушение, но не избавят от лукавого... Уж я тебе предрекаю, что ими ты не один нож призовешь на свою шею... Да вон кто-то уже и идет.

Захарий поспешно задернул шнурками кису и, опустив ее за пазуху, приосанился как ни в чем не бывало.

– Самого свежего, сочного сенца задал лошадкам вашим, бояре, и кадушку овса насыпал для них, – сказал вошедший Савелий. – Ишь как измучились сердечные. Одна чья-то

уже куда добра, вся в мыле как посеребрена, пар валом валит от нее, и на месте миг не стоит, взвивается... Холопская уж куда ни шло, а то еще одна там есть, ни дать, ни взять моя колченогая... Променяйте-ка ее в Москве на ногайскую, что привели намедни татары целый табун для продажи... Дайте в придачу рублей...

Захарий весь вспыхнул от злости, обидевшись тем, что старик браковал его лошадь, и резко прервал его:

– Что гроза еще не прекратилась?

– Слава Богу, стихло, дождь чуть покапывает, только с деревьев больно сыплет его ветер, как веником смахивает.

Вошел холоп Назария и подал своему господину яшмовую фляжку с греческим вином, серебряный рожок и конец белого панушика.

Назарий, налив в рожок вина, перекрестился и, поклонясь хозяевам, разом опорожнил его, а, наливая другой, обратился к Захарю:

– На-ка, промочи живой водицей свою душеньку, небось она зачерствела со страху в

лесу.

Тот не отказался и, прильнув к рожку, вытянул вино как насосом.

Дошла очередь до хозяина, но тот обеими руками отмахивался от вина.

– Что ты, боярин! Нам нельзя это снадобье, наше рыло не отворачивается только от пенной браги, да и то в праздничный день, а не в будни[14].

Не малого труда стоило Назарию уговорить его выпить хотя один рожок. Савелий опасался, что среди приезжих есть соглядатай из холопного приказа[15], который после возьмет с него виру[16].

Только тогда, когда Захарий поклялся ему московским чудотворцем, святым Петром митрополитом, что никто из них из избы сору не вынесет, т. е. не будет на него доносить, старик охотно согласился опорожнить не только рожок, но даже целую флягу.

Понравилась ему, видимо, лакомая влага. С самодовольной улыбкой погладил он свою бороду, которую звали полосатой, так как она была черная с проседью, и любовно посмотрел на оставшееся во фляжке вино.

Агафья тоже промочила себе горло, не отказываясь, но прихлебывая и приговаривая:

– Куда голова, туда и хвост, прожив с мужем четыре десятка, так уж и пить из одной чаши!..

Вино развязало языки старикам.

Савелий пустился в рассказы о тереме, утверждая, что он более чем ровесник Москвы, что прадеду великого князя, Юрию Владимировичу Долгорукому подарил его на зубок задуманному им городу какой-то пустынный-чародей, похороненный особо от православных на Красном холме, в конце Алексеевского леса, возле ярославской дороги, что кости его будто и до сих пор так бьются о гроб и пляшут в могиле, что земля летит от нее вверх глыбами, что этот весь изрытый холм по ночам превращается в страшную разгоревшуюся рожу, у которой вместо волос вьются огненные змеиные хвосты, а вместо глаз высываются жала и кивают проходящим, что пламя его видно издалека, и оттого он прозван «Красным». Великий князь подарил этот терем боярину Савелия за верную службу, вскоре после похода под Казань, и что с тех

пор стал тут жить боярин с семейством до самой опалы великокняжеской.

Савелий проговорил бы до утра, если бы его не прервал Захарий.

– Уйми ты жернов свой, – крикнул он на него, – сказка твоя слишком тощая закуска для меня... Эй, вы, подите обшарьте-ка тороки у моего седла, там, я заприметил, мотались давеча калачи...

– Да они, боярин, все размокли от дождя, – отвечал один из холопов.

– В самом деле, хорошо бы закусить чем-нибудь, – заметил Назарий.

– Скудна наша трапеза, боярин, а если тебе угодно, то бьем челом всем, что сыщется, – произнес Савелий. – Эй, жена, все, что есть в печи, на стол мечи!

– Что там разбирать, любя али не любя, все благословение Господне, – отвечал Назарий. – Что до меня, я человек привычный ко всему, рос не на печке, не был кутан хлопком под материным шуком, а все почти в поле; одевался не полостями меховыми, а железной скорлупой и питался зачастую чем ни попа-ло.

Агафья тем временем всунула руки и голову в печь, вытащила из нее горшок с ячменной кашицей, приправленной чесноком и свиным салом. Савелий достал с полки ковригу ржаного хлеба, толочко, и все это они поставили с поклоном перед своими гостями.

Савелий нацедил ендову квасу, подал его вместе с деревянной узорной резьбы солонкой гостям и пожелал им на здоровье откусать его хлеба-соли.

Назарий, усердно помолясь Богу, сел за стол, отломил себе добрую краюху хлеба и, зачерпнув широкой ложкой кашицы, стал аппетитно уплетать далеко не изысканные яства.

Захарий сперва морщился и делал себе поднос замечания, что на хлебе не менее плесени, чем на лице хозяйки морщин, что он жесток так, что ему не по зубам, но видя, что аппетит его товарища грозит опустошить весь горшок кашицы, начал быстро наверстывать потерянное время.

Когда оба проголодавшиеся гостя насытились, Захарий даже самодовольно разгладил рукой свое увесистое брюхо и почти дружес-

ски спросил Савелия:

– Скажи-ка нам, Тихоныч, – мы люди заезжие, – нет ли в Москве чего новенького? Порадуй нас какой-нибудь весточкой.

XVII. Рассказ Савелия

– И, боярин, откуда нам, набраться новостей, – отвечал Савелий, – живем мы в глуши, птица на хвосте не принесет ничего. Иной раз хоть и залетит к нам заносная весточка, да Бог весть, кому придет она по нраву, другой поперхнется ею, да и мне не уйти. Вот вы, бояре, кто вас разгадает, какого удела, не московские, так сами, чай, знаете, своя рука только к себе тянет.

– Хотя мы не москвитяне, не земляки твои, однако, такие же русские, – сказал Назарий, – такие же православные христиане, ходим с вами под одним небом, поклоняемся одному Богу, греемся почти одной кровью и баюкает нас одна мать – Русь святая.

– Да отец-то не один, – продолжал Савелий. – Мы чтим и челом бьем своему князю, на кого он, на того и мы, за кого он, за того и мы, а вы, чай, чувствуете своего.

– Мы, – гордо воскликнул Назарий, – все мы одно тело! Душа наша...

Он остановился, так как Захарий толкнул его ногой и добавил живо:

– Что-то будет...

– А бывала ли ваша милость в Москве? – нарушил Савелий вопросом наступившее было молчание.

– Я был, но давно уже, – отвечал Захарий, – когда еще в Москве замирала жизнь и души во всех дремали. Помнишь ли, когда истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира, что по греческим писаниям означало приближение конца света?

– Как же, родимый! То была черная година! Знать на нее взглянул Касьян немилостивый. Я жил тогда в Красном селе. Бывало, пойдешь в Кремль к боярину, да еще не доходя до посада все сердце изнается; в какую сторону ни взглянешь везде идет народ в смирном[17] платье на каждом шагу, видишь, несут одер или сани[18] с покойниками, а за ними надрываются голосатые[19]. Слухи носились, что железа[20] рыскала по всей Руси, а у нас, кажись, нахватало народу более всех. Ведь

сколько его вымерло – гибель! А как студено было, какие снега сыпались даже в весенние дни, солнышко-то Божье отвернулось от грешной земли нашей, бывало и не проглянет и не обрадует нас несчастных; а летом-то еще пущая пришла невзгода, ни дождичка, ни росинки, жар обдаёт, а напиться нечего, вода-то вся, как выпарилась! Хлеба все опалило – и голодно и душно, хоть живым ложись в могилу. А ночи-то какие ужасы наводили на нас. Вдруг делается темень такая, что хоть глаз выколи, ни месяца, ни звезд, да еще, сам не видал, а молва разносила, озера по ночам воем выли, так что спать не давали, кто жил к ним близко. Невесть что претерпели мы тогда! И чем прогневили только Владыку Небесного, что послал Он на нас бедных напасть такую лютую.

Назарий, внимательно слушавший рассказ Савелия, задумчиво и печально произнес:

– Бедная наша отчизна! Чужие и свои враги, и гнев Господень подавляют тебя.

– Какие же это свои враги, боярин? – спросил его Савелий. – Кажись, теперь все князья

живут в ладу, как дети одной матки, дружно, согласно. Наш же московский, как старший брат, властью своей прикрывает других. О прежнем времечке страшно подумать. Вот недавно сломил он, наш батюшка, разбойников...

Захарий быстро смекнул, о чем хочет заговорить Савелий, и, заметя, что в глазах Назария блеснул луч гнева, поспешно перебил старика:

– Ну, Тихоныч, что же далее-то было?

– Да что? Грянул гром и хватились за ум – начали все креститься: кто вносил богатые вклады в храмы Божии, кто строил их, кто, не в осуждение будет сказано, протоптал колени и отмахал всю голову, молившись, а с ближних своих сдирали вчетверо за хлеб насущный, несмотря, на то, что у самих были полные закрома всякой всячины, а другим и куснуть было нечего; иные же, зазорно и вымолвить, нанимали за себя молеельщиков... Всяк, кто не хотел трудиться да работать, делался их попом... Их ублажали всячески, а они, прости Господи, вместо утешения да моления за православных, только соблазняли народ и

бесчинствовали до того, что добрый владыко, наш пастырь и святитель Феодосий, не будучи в состоянии терпеть далее таких беззаконий, сложил с себя сан митрополичий и заключился в Чудовом монастыре. Там, сказывали, ухаживал он все за каким-то прокаженным, омывал его раны, молился за нас грешных и творил многие богоугодные дела до конца своей жизни.

– А церковь-то Божья и вы остались без стража, отданные на добычу этим развратным искусителям? – спросил Назарий.

– Место свято пусто не живет, да и верующие в него тоже. Духовные сановники вскоре всем собором избрали на упразднившееся место в московские пастыри суздальского святителя Филиппа. Этот муж, разумный и красноречивый, силой слова разогнал во имя Божье эту челядь, а нас просветил надеждой, проповедуя об испытании и покорности рабов земных Отцу нашему небесному, чадолюбивому.

– Помнится мне, московитяне ваши собирались воевать с Казанью после этого падежа людского? – спросил Захарий.

– Не после, а в это же время, боярин, как

великий князь поднял верноподданных громким кличем идти на неверцев. Как выкатили на площадь Кремлевскую не тараны стенобитные, не туры подвижные, не перевесы приступные[21], а огнеметы чугунные[22], все это так ободрило народ, что все подняли головы, как будто грянула страшная труба и звала всех из гробового сна. Сбылись и священные слова нашего пастыря: «молитесь и дастся вам». Настала весна, проглянуло солнышко. Боже, как обрадовались ему православные. Солнышко, родное, глазок Божий, ненаглядное ты наше! – вскрикивали все, рыдая, а оно-то так умильно, так светло взглянуло на нас... и заиграли его искорки на крестах соборных, и разгорелись наши сердца радостью, и... Да что и говорить, всего не вымолвишь, что было на душе! Земля отдохнула – и с тех пор уже жутко стало показываться снегам да морозам в вешние дни.

Окончив свой рассказ, Савелий утер рукавом выступившие слезы.

Прослезился и затуманившийся Назарий.

Лучина нагорела. В светлице был полумрак. Все было тихо; вдруг Захарий вывел но-

сом такую ноту, что все оглянулись, подумав, что это прозвучала сапелка[23]. Затем он сильно всхрапнул и, тут же проснувшись, удивленно смотрел осоловелыми глазами на молчавших собеседников.

– Ох, да как славно я вздремнул! – произнес, наконец, он и, заметив, что заветная киса его высунулась наполовину из-за пазухи во время сна, поспешно спрятал ее.

Назарий встал из-за стола и помолился Богу, за ним поднялся, зевая, и Захарий.

– Ну, теперь моя очередь заснуть! – сказал первый и прилег на свой охабень.

– Старуха, покорми чем-нибудь наших холопов. Кстати, вот тебе за все тепло и добротное, – продолжал он, выкидывая на стол серебряную резань[24], а Захарий, сверх того, отложил несколько литовских грошей[25].

– Это тебе, Сидоровна, за хлопоты и услуги.

– Спасибо, господа милостивые! – сказали хозяйева низко кланяясь им.

– Вот эта наша, светленькая-то, – прибавил Савелий, перевертывая резань и любуясь ею, – а эти медяшки-то Бог вещь какие, те же пули, да не те, на них и грамотей не разберет

всех каракулей. А что, боярин, – продолжал он, обратясь к Захарию, – должно быть, изда-лека эти кружки?

– Нужды нет, что отсюда не видать, где их круглят, однако, тебе за них и в Москве насыпят добрый оков[26] хлеба.

– Я не сомневаюсь, боярин; всякая деньга становится всем притяженна, – отвечал Савелий.

XVIII. Рассказ Агафьи

– Ну-ка, старина, – что-то сон не берет, – порасскажи-ка нам теперь о дворе вашего великого князя, – сказал Захарий. – О прошлых делах не так любопытно слушать, как о тех, с которыми время идет рядышком. Ты же о чем-то давеча заговорил, будто иную весть не проглотишь. Не бойся, говори смело, мы верные слуги московского князя, у нас ведь добро не в горле останавливается, а в памяти: оно дымом не рассеется и глаз не закоптит.

– Я, боярин, опять-таки говорю: мои вести короче бабьего разума, сами будете в Москве, все разузнаете и диву дадитесь, как она кра-

сива, как добры и сильны стали детки ее и как остры мечи их. Вот хоть бы взять, к примеру, мурзы татарские, эти казанцы-поганцы, со своим псом-царем Ибрагимом; уж не они теперь на нас, а мы на них; наши дружины протоптали дорожку даже к самому гнезду этих неверцев... Да вот только привел бы Господь батюшка нашему великому князю сбить последнюю спесь с чопорных новгородцев, он бы их ошеломил, как наемни этих.

– Да знаешь ли ты, косноязычник, что погубило новгородцев? – воскликнул взволнованно Назарий и даже привскочил с лавки, на которой лежал. – Если бы не измена Упадыша[27] с его единомышленниками, брызнул бы на москвитян такой огненный дождь, что сразу спалил бы их, а гордые стены Новгорода окрасились бы кровью новых врагов и еще краше заалели бы. Так-то, седая борода, – добавил он, несколько успокоенный, изумленному Савелию, – что не знаешь, о том и не болтай.

– Вот то-то, боярин, сами вы напросились на грубое слово. Я говорил, что на всякого не побережешь хорошую весть. Однако за что

же ты защищаешь крамольников, – они кругом виноваты, в них, видно, и кровинки русской нет, а то бы они не променяли своих на чужих, не стали бы якшаться да совет держать с иноверной Литвой! Мы холопы, а тоже кое-что смекаем; не я один, вся Москва знает, о чем теперь помышляет князь наш.

Назарий задумался и, видимо, не найдясь, что ответить ему, глубоко вздохнул и опустил голову на шапку, заменявшую ему подушку, и закрыл глаза. Захарий же с ударением заметил:

– Полно говорить-то, мы точнее тебя знаем, какие мысли ворошатся теперь в голове вашего любовластного князя.

Савелий пристально посмотрел на него и, как бы сообразив что-то, схватил себя за голову и поспешно выбежал из светлицы. Агафья же, кормившая холопов, отвечала ему вместо мужа:

– Вестимо, боярин, но мы тоже понаслышаны кой-чего, а когда бояре наши были во времени[28], то тогда мы и более знавали.

– Кстати, Сидоровна, за что же опала-то опалила крылышки твоим боярам? Кто они

такие и где находятся теперь? – спросил Захарий.

– Долга будет песня про все, боярин! – отвечала она, – вот дождь-то, кажись, унялся, небо прояснилось и светать скоро начнет, вам будет в путь пора, а нам на покой.

– Да, что-то сон у меня как рукой сняло; расскажи-ка теперь что-нибудь ты.

– Ну, коли изволишь слушать, да это тебе на пользу – так пожалуй! Боярин наш зовется Алексеем Полуектовичем, он был в чести у великого князя, а жена его, боярыня Наталья Никоновна, у великой княгини Марьи Михайловны[29] – первой любимицей. В свадьбу великокняжескую она осыпала жениха и невесту хмелем из золотой мисы, да опахивала тридцатью дорогими соболями. И жили-поживали наши бояре при дворе в высоких теремах чинно и раздольно и едали с княжеских блюд сладко и разносольно. Соберется ли, бывало, великий князь в поход, и боярин с ними, охраняет его особу верно, а боярыня остается потешать сиротиночку княгиню великую, – и много годов прошло таким чередом. Вдруг с Марьей Михайловной что-то слу-

чилося; бывало, не заснет ни на миг, не промолвит словечка, не проглотит кусочка, – уж чем ни забавлял ее великий князь: заставлял слепого гудочника играть подле постели ее на гудке и веселые песни и умильные песни, ластил ее и медом золотым, шипучим и всякими Закусками и гостинцами сладкими, ничем не угодишь. Знахари думали-передумали, судили-рядили и сказали в один голос, что она испорчена злыми снадобьями. На кого подумать? Стали допрашивать всех сенных и сановитых прислужниц ее, и показали все, что видели, как боярыня наша Наталья Никоновна ходила с поясом великой княгини к ворожее и что будто эта ворожея и привила ей недуг лютой. Отворили храмы святые, подняли образа чудотворные, служители Божии преклонили колена и начали упрашивать силы небесные о здоровье матушки нашей великой княгини, но, зная, Богу не угодно было ниспослать ей милостей Своих – тело ее почернело как вороново крыло и отекло так, что и рассказать невозможно. Не долго маялась она, сердечная, и отошла тихо, как заснула. Только что ударили в колокол о выносе те-

ла ее, Наталью Никоновну как ножом по сердцу резануло, забегала она по гридням своим и занесла такую гиль, что Господи упаси всякого было слушать ее. Видно, побоявшись праведного великокняжеского гнева, вдруг пропала она, да так скрытно, что сам Алексей Полуктович не мог придумать, куда бы ей деться? Вот он и переселился из Москвы сюда, в родовой свой терем, удалил всех своих закупных рабов, только мы с Тихоным остались служить ему. И жил он здесь ни много, ни мало, шесть с половиной лет, и потребовал его князь опять вернуться, повелел ему занять прежнее его место окольного. С тех пор запустел наш терем. Одни мы доживаем жизнь свою в нем, и о боярыне ни слуху ни духу, как ключ ко дну синула. Дивились мы, что за притча такая: за что бы ей посягнуть на государыню, и где она положила головушку свою, в чьей земле улеглись косточки ее? И жутко, страшно жутко становится нам, как на той половине терема кто-то по ночам словно в набат бьет, особенно в темную ночь, как зашелестит дождик проливной, да завоют ветры буйные...

– Жена, баба, дура, хозяйка! – тревожно позвал Агафью, приоткрыв дверь в светлицу, Савелий и прервал этим ее рассказ.

– Что ты, одурела, разболталась языком-то? – говорил он, когда она вышла к нему в сени. – Знаешь ли, что это лазутчики, враги наши, которые выведывают от тебя всякую всячину. Дойдет до ярыжек, так не оправдаешься ничем.

– А по мне, прах их побери! – отвечала Агафья. – Мне откуда знать, кто они такие? Ну, что ж! Я говорила, да не проговорила. Уж нелегкое дело, будто меньше тебя соображаю, ты и сам давеча...

– Нет, смертью искупим славу! Родились вольными и умрем такими же! – воскликнул так громко Назарий, что Агафья с Савелием вздрогнули.

– Он бредит! – произнес тихо Захарий, наклонясь над своим сонным товарищем.

Затем он улегся снова на свою лавку.

На цыпочках прокрался Савелий в светлицу и стал выманивать шепотом холопов идти спать в клеть, но они улеглись у порога. Тогда он указал Сидоровне на печь, задул све-

тец, перекрестил издали своих постояльцев и, взобравшись на полати, еще долго вслушивался в окружающую его тишину, прерываемую лишь храпом спящих да бессвязным бредом Назария о свободе.

XIX. На пути к Москве

Было раннее утро 29 августа 1477 года. Из сумрачного леса на большую тверскую дорогу медленно выезжали четыре вершника[30], в которых не трудно было узнать путников, почивавших в лесном тереме.

Назарий сидел пасмурно, так низко поникнув головой, что залом его шапки, висевшей наперед, нередко касался гривы бодро выступавшего коня. Захарий же сгорбился и посвистывал, переваливаясь то в ту, то в другую сторону, мотая ногами и сидя, как туго набитый мешок на маленькой лошаденке, неохотно трусившей под ним. Холопы ехали сзади и с глупым любопытством осматривали окрестности, видимо, для них совершенно незнакомые.

– Воти часовня! Должно быть, отсюда мос-

ковский рубеж начинается! – сказал Захарий.

Товарищ его поднял голову, как бы пробужденный, поспешно скинул шапку, перекрестился и снова погрузился в свои думы.

– Что ты, ошалел, земляк, али от Москвы-то тебя огнем обдает... Вымолви словечко, оправь шапку, будь молодцом! Смотри, какое утро, солнышко играет так ярко и весело...

– У кого на душе сумерки, так я в глазах не заря! – отвечал Назарий, тяжело вздохнув.

– Знать, твою удадь что-нибудь сковало со вчерашнего – не шевельнешься... Видно, старый колдун Савелий сильно уязвил тебя последними словами о наших.

– А ты без зазору хлопаешь глазами, когда земляков твоих поносят, называют разбойниками, помышляют о них как...

– Да, а вот ты не хлопаешь, так у тебя глаза-то и выело, как дымом.

– Знаю я, что тебя ничто не берет: ни стыд, ни дым.

– Вестимо, что кручиниться? Уж коли взялся за гуж, не говори, что не дюж.

– А понимаешь ли ты, кого ты теперь представляешь в лице своем?

– Кем был, тем и останусь: вечевым дьяком Захарием. А по-твоему как же?

– По-моему, был ты Захарием, а когда окунулся в купель корысти, то вышел оттуда – Иудой.

– Гм... – крикнул Захарий. – Поэтому мы с тобой тезки...

– Как, чернильная гадина! – гневно воскликнул Назарий и даже осадил своего коня. – Недомерок человеческого рода тянется под мою статью или хочет оскорбить меня, чтобы сравняться со мною. Господи, до чего я дожил, – добавил он с неподдельным отчаянием в голосе.

– Да что ты серчаешь? Я сказал это потому, что мы целимся в одну мету!..

– В одну, да каким образом... Я действую прямо, иду на всякого лицом к лицу, а ты, за-спинная шпилька, подкрадываешься медяницей, неслышною стопою.

– Пусть так, да ужалим-то мы оба одинаково.

– Отец Небесный! – вновь воскликнул Назарий, возведя пламенный взор к небу. – Перед Тобой я весь! Дума моя не темна и перед

людьми, а наипаче перед Тобою. Ты видишь, способен ли я ужалить отчизну мою. Родная моя, пусть прежде рассыплюсь я в прах, нежели подумаю что-нибудь недоброе о тебе.

Некоторое время он оставался в немом созерцании лазурного неба.

Захарий что-то ворчал сквозь зубы.

Наконец Назарий прервал молчание.

– Слава Тебе, Господи! Нашла Тебя молитва моя, молитва скорбная, глас сердца моего доступен Тебе! – произнес он, вздохнув полной грудью, как бы после тяжелого сна. – Отлично... на душе легче стало! Я не продаю отечества... Я отвожу лишь от пропасти.

– Ведь и я тоже! – добавил самодовольно Захарий.

– Если совесть твоя отшатнулась от тебя, то я вместо нее растолкую тебе разницу между нами. Слушай же меня!.. Ты знаешь, как чувствуют имя мое, имя чиновника Назария, и до ныне в Новгороде Великом, и в Пскове соседнем, и у латышей[31] с тех пор, как зарубил я на воротах Нейгаузена православный крест. Даже самой Москве ведом я, когда великий князь Иоанн припер ономнясь наш го-

род копьями да бердышами несметной своей рати, – я не последний подавал голос на вече, хотя последний произнес его на казнь славного изменника Упадыша – вечная ему память... И на мне есть пятнышко черное... и на меня брызнула кровинка его!

Назарий вздохнул.

– Ты знаешь, – продолжал он, – правы ли мы были, подняв руку на потомка Ярослава Великого и на нашего государя! Чего нам хотелось, сытым, богатым? Правдива поговорка на Руси: «от жиру собаки бесятся». Накликали мы сами на себя гнев Божий и меч государев. Помнишь, чай, как мы глодали кулаки с голоду и, наконец, решились, да простит нас Господь, в пост великий есть мясо, и чье же, – палых лошадей и собак, которыми не показано питаться рабам Христовым. В это смутное время не я ли с Василием Никифоровым и прочими боярами и степенными посадниками молил князя снять осаду с города и позволить нам, сирым, похоронить по христианскому обряду тела павших братии наших.

– Их без нас схоронил Ильмень[32], – вставил Захарий.

– Для тебя, конечно, все равно: муха ли утонула в стопе, из которой пьянствуешь, земляк ли захлебывается собственной кровью, но дело не в том. Не раз и моя кровь смывала ржавчину с мечей новгородских, а тело – зазубрило вражеские. Не пальцами на руках, а волосами на голове следует считать мои заслуги. Но, недавно, кто заглушил голос мой на вече? Жена хитрая, баба поганая, человек неумный... Марфа Борецкая. Перед кем принуждали меня преклонить выю? Перед мозгляком, литвином, бродягой, полюбовником ее. Широка рана на груди отчизны, так они еще увеличивают ее злыми изветами на законного владыку своего, всякими неистовыми поступками! Я сказал, что сам побью челом великому князю от лица Новгорода Великого, чтобы он сжал его крепкой, самодержавной мышцей своей и наложил бы на него праведную десницу. Во что бы то ни стало избавлю земляков от домашних врагов, уличу злых, покажу дерзких, а после сам скажу всем новгородцам: «Я виновник вашего счастья, покарайте меня!» И если голос мой заглохнет в криках обвинителей, пусть торговою каз-

нью снимется с плеч голова моя – дело мое уже будет сделано. Вот для чего я согласился действовать с тобой и впервые в жизни осквернил язык свой ложью, которую мы произнесем перед великим князем на своих, навести согласился на отчизну одного врага, чтоб спасти ее от многих. Я чувствую, что в деле этом я прав и чист.

– Мы надели кафтан одного покроя, больны одним недугом, теперь едим из одного сосуда, пьем из одной братины, один топор грозит на нас, – сказал Захарий.

– Ну, да... послушай, – прервал его Назарий, – всем я был доволен, на душе светло, на сердце легко, да только вот съякшался с тобой, и думаешь ты, не узнал я, что нашептывал тебе московский наместник, как одарил тебя щедро великий князь в Москве. Он наметил тебя на поклон к нему, как вечаевого дьяка, зная, что звание это почетно... Так то, хоть от рук твоих не пахнет, но я знаю, что они давно уже смазаны московским золотом.

– Стало быть, и ты знаком с нечистыми, коли все знаешь...

– Молчи лучше! Душа твоя темна, как дно

чернильницы, и чернота ее пробивается иногда наружу. Так уж и быть, dokonчу я наше дело, а там пойду поклониться могиле святого Савватия, если только молитвы заступника Божия спасут меня от смерти... Услыши, Господи, обет мой и помощи исполнить его.

– Вот и Москва показалась! – воскликнул Захарий.

Исполин-город, колосс России, Москва златоглавая вдруг развернулась, как на ладони, перед взорами путников и ярко заблистала на солнце своими светлыми маковками.

Золоченые кресты храмов, казалось, сотканы были из слившихся солнечных лучей.

Картина была ослепительная.

Вдруг донесся от Москвы удар церковного колокола, за ним другой, третий, и разлился торжественный благовест к обедням во всей столице.

– Кажись, ноне не воскресный день? Разве празднество какое, что так звучно гудят колокола в Москве? – сказал Захарий, снимая шапку.

– Святый угодник Божий Иоанне! Помози нам, благослови приезд наш! – произнес Заха-

рий, истово крестясь, и оборотился к Назарию. – Разве ты не знаешь, что ноне день усекновения главы Иоанна Предтечи? А еще книжный человек!

– А, вот что... Так, значит, великий князь сегодня именинник. Вот кстати у нас для него готов подарок, – заметил Захарий.

XX. Москва в 1477 году

Подгородные деревушки и пригородные слободы московские тянулись длинными и грязными улицами, одна от другой в недалеком расстоянии. Промежутки между ними были менее полуверсты. Слободы отличались от деревушек тем, что были обширнее, чище, новее строениями и, вообще, красивее последних; первые принадлежали казне, что можно было заметить по будкам, которые служили тогда жилищем нижних чинов полиции и подьячих. В каждой слободе было по одной такой будке. Некоторые из слобод, прилегавших к самой Москве, составляли с ней одно целое и потому назывались пригородными.

Проехав несколько таких деревушек и сло-

бодок, наши путешественники въехали в большую слободу, отличавшуюся более кипучей деятельностью и многолюдством. Поминутно мелькали перед ними обыватели: кто с полными ведрами на коромысле, кто с кузовами спелых ягод, и все разодетые по-праздничному: мужики в синих зипунах, охваченных разноцветными опоясками, за которыми были шапки с овчинной опушкой, на ногах желтелись лапти; некоторые из них шли ухарски, нараспашку, и под их зипунами виднелись красные рубашки и дутые, медные пуговицы, прикреплявшие их ворота; бабы же – в пестрядинных поневах, в рогатых кичках, окаймленных стеклярусовыми поднизьями – кто был зажиточнее – а сзади злато-вышитыми подзатыльниками.

Все встречавшиеся низко и приветливо кланялись нашим путешественникам.

– Путь дорога, бояре!

– Бог в помощь.

– Спасибо!

– С праздником!

– Спасибо, спасибо!

Такие восклицания слышались со всех сто-

рон.

– Не позволите ли остановиться, бояре, да дать передохнуть животным своим и покормить их – ишь как они упарились, – слышался голос одного из выбежавших из избы мужиков.

– Да и самим бы перекусить чего-нибудь! – кричал другой мужик, подбегая к путешественникам.

Он еще издали им кланялся, горбился, вытягивал голову и тряс своими волосами.

– У меня бураки из свежей свеклы! – выкрикивал один.

– У меня щи из кочанной капусты! У меня панушки пухленькие, горяченькие, только что с пылу! У меня пышки подовые с сытой! – закричали вдруг несколько голосов из окружавших путников.

– Нет, братцы, благодарствуем на приглашении, нам привал в Москве.

– А у нас-то что? Разве другой город? – сказал один, видимо, обидевшись.

– Пусть их добираются до Загородья, аль до посада, там подороже поплатятся! – заметил другой.

– По нас, хоть за посад, только там теперь порожнего угла не найдешь, в избе и душно, да она битком набита, а за чистую светлицу отдашь полгривны на день за постой!

– Ништо... Не в Кремль же их пустят для нонешнего дня, там и без них много приезжих, так что маковой росинке, чай, негде упасть.

– Если вы хотите, добрые люди, угостить нас, – сказал Захарий, перебивая говор окружающих, – то вынесите нам по ковшу квасу.

Мигом несколько человек бросились к своим домам, принесли целый жбан и, зачерпнув ковшиком, подали Захарию, а затем и остальным, уверяя, что квас прямо с ледника и такой холодный, что только глядя на него уже заноют зубы.

– Ну теперь закусите, бояре, белым калачиком. Чай, проголодались, уже обедни поздние, а ныне вы наверняка ничего еще не вкушали, заморите червячка, нам, грешным людям, еще рано, грешно, а вам, дорожным, Бог простит, – говорили разом несколько человек, насильно суя в руки путникам калачи.

Назарий кинул им несколько кун[33], и

проезжие поехали далее.

– Ну, братец, уж о сию пору москвичи сказываются; видно, что не промахи, умеют деньгу нажить, а нажитую беречь. Что-то будет далее? – сказал Захарий, почесывая затылок.

Через несколько времени, при въезде в одну улицу, показались на ней рогатки, отодвинутые в сторону с дороги и означавшие начало настоящего города, хотя тогда это место называлось Загородьем.

Оглядывая пристально проезжаемые им места, Захарий продолжал говорить:

– Вот мы и в Москве! Да как она разрослась, разубралась, раскинулась на все стороны – и узнать ее нельзя! Помнится мне, прежде стояли тут избенки одна от другой на перелет стрелы, а ноне как будто все под одной крышей.

На самом деле громады деревянных построек, без симметрии, без вкуса, тянулись длинными рядами и составляли кривые узкие улицы, которые вдруг раздваивались от выстроенных посреди их теремов, церквей. Глухие переулки оканчивались поперечными

зданиями также теремов боярских, вышек, высоких заборов со шпильками, в угрозу во-рам, которые бы вздумали лезть через них, и каменных церквей с большими пустырями, заросшими крапивой и репейником, из которых некоторые были кладбищами, и на могилах мелькали выкрашенные кресты и белые, поросшие мхом камни.

Самые здания казались нестройными потому, что подле двухэтажных хором, обнесенных тесовой оградой, стояли покосившиеся низкие, вросшие в землю избы, огражденные поломанным тонким частоколом. Не только посреди Москвы были тенистые рощи, пруды, озера и зеленые волнистые луга, но почти каждый боярин и зажиточный человек имел на своем дворе тенистый сад, по преимуществу из диких яблонь. Через тын сада переливали головки свои статные подсолнечники, а в самом саду пестрели гирлянды разноцветного мака, ноготков и проч. В большинстве садов были рыбные пруды – чистые, зеркальные, цветистые лужайки, ульи пчел. Кроме того, на дворе были разные строения: часовни, амбары с запасным хлебом, кладовые с

железными дверями, а подвалы, темные особые светлицы, вышки, мыльни, голубятни, толстые необхватные столбы с блиставшими на них медными кольцами, в которые застольные гости хозяев вдевали удила своих коней. Дворы были гладко вымощены бревнами, имели снаружи на воротах навесы, а под ними иконы. Глубокие погреба хранили крепкие меда и греческие и фряжские вина.

Богатство и роскошь бояр составляли еще: божницы, в которых находились иконы в богатых серебряных и золоточеканных окладах; драгоценная посуда, серебряные и золотые кубки, ковши, братины, блюда, тарелки, и проч., нарядная одежда из шелка и парчи с узорчатыми нашивками из золота и драгоценных камней, и, наконец, множество слуг или холопов, обельных, закабаленных и закупных[34].

Имущество же бедных огнищан[35], купцов черных сотен и слобод[36], половых[37] и прочих людей состояло из ветхих хибарок с соломенными крышами, с небольшим двором, внутри которого виднелись жердь с веревкой и бадьей для колодца, да длинные гря-

ды с капустой, свеклой, редькой, морковью и другими огородными овощами.

Такова была Москва в описываемое нами время, за исключением Кремля, описанию которого мы посвятим особую главу.

В настоящее время остались только некоторые храмы, на которых не изгладились еще следы глубокой древности нашей родной столицы. Другие же памятники хотя и носят название древних, но реставрированы до неузнаваемости.

Единственно, что напоминало и тогда сегодняшнюю Москву, – это неумолкаемый говор народа, особенно на торговых площадях в праздничные дни.

Этот говор поразил приезжих новгородцев сильнее вида самого города.

XXI. В Кремле

Колокольня церкви Иоанна Лествичника была в описываемое нами время колоссальным сооружением московского Кремля и на далекое расстояние бросалась в глаза, высясь над низкими лачужками. Впрочем, чем ближе путник приближался к Кремлю, тем лучше, красивее и выше попадались хоромы, двухэтажные терема с узенькими оконцами из мелких цветных стеклышек, вышки с припорками вместо балконов для голубей, обращенными во двор, и густые сады.

Великолепный же сад, находившийся на берегу Москвы-реки, хотя и был разбит на низменном месте, но его букетные рощицы из молодого орешника, перемешавшиеся с густым малинником, виднелись издалека. Подле великокняжеского сада, отделенного высоким тыном, были сады бояр, полные густолиственных деревьев и пестрых цветов.

Картина этих сплошных садов была особенно великолепна весной и летом.

Сады эти, конечно, не были распланированы и дорожки в них протаптывались, в боль-

шинстве случаев, самими хозяевами.

Множество балаганов, разных гостиниц, купеческого и монастырского подворьев, скученных около Кремля, не заграждали его высоких бойниц, доминировавших над всеми этими постройками. На высоких, от времени поседевших и во всех местах поросших мхом, каменных зубцах кремлевских стен вились плющ и повилка.

Весь Кремль обнесен был широким тыном, низ и бока которого были выложены кирпичами, а к воротам вели деревянные мосты с крашеными перилами.

В самом Кремле скученность построек была еще больше. Громадное пространство занимал один дворец, в котором находились разные палаты и хоромины, писцовые и приемные дворы: соколиный, кухонный, мыльный[38], ясельничий[39]; службы: кладовая, погреба, запасные подвалы и разные великокняжеские хранилища. Особенно замечателен был тайник, или подземный ход, вокруг всего Кремля, относящийся, вероятно, к XII столетию, времени владычества татар, и имевший своей целью прикрытие от набегов

этих варваров.

Кроме дворца с его многочисленными пристройками, в Кремле находились соборы: Успенский, Архангельский, Спас на Бору, Чудова монастыря, Рождества Иоанна Предтечи, а подле него митрополичий дом, Думная палата[40], в которой заседали думные или советные бояре и в которой решались все важные государственные дела; ордынское подворье, терема ближних бояр, ворота: Боровицкие, Тайницкие, Фроловские, Константино-Еленинские.

Среди толпы народа, валом валившей в Кремль, пробирались и наши знакомцы, Назарий и Захарий. У Боровицких ворот они слезли с лошадей и, передав их с кое-какой поклажей своим холопам, приказали им ехать в дом их знакомого и родственника Назария – князя Стрига-Оболенского, а сами, сняв шапки, перешли пешком через мост в Кремль и, смешавшись с все возраставшей толпой, стали подходить к Успенскому собору.

В это время только что кончилась обедня и раздался колокольный звон, означавший вы-

ход великого князя.

– Тише, тише! – послышался голос от церкви.

– Тс! Князь, князь! – раздалось со всех сторон, и говор народа моментально смолк.

Хотя дворец находился недалеко от собора, но во время парадного шествия, для соблюдения церемониала, великому князю подан был праздничный возок, запряженный шестью рослыми лошадьми, ногайского привода. Шлеи у лошадей были червчатые, уздечки наборные, серебряно-кольчатые; отделан возок был посеребренным железом и обит снаружи лазуревым сафьяном, а внутри голубой полосатой камкой. Седельные подушки были малиновые шелковые с золотой бахромой. Бока возка были расписаны золотом, а колеса и дышло крашеные.

Впереди ехали вершники[41], раздвигая народ, за ними московские копейщики под предводительством статного, богато разряженного юноши, а затем уже медленно двигался возок, в котором сидел великий князь Иоанн Васильевич, милостиво кланяясь на обе стороны шумно приветствовавшему на-

роду.

По сторонам войска шли с обнаженными головами первые сановники двора.

Вслед за ним несли на носилках, обитых алым бархатом, великую княгиню Софью Фоминичну с детьми и ее пасынком.

Она величественно сидела на парчовых подушках, унизанных жемчугом.

За носилками шли ближние бояре, окольничии, стольничии, кравчие и остальной придворный штат.

Толпы народа замыкали шествие.

Когда вся процессия остановилась у дворца, дворецкий[42], по повелению великого князя, обратился к народу и провозгласил:

– Для именин своих великий князь приглашает подданных на трапезу, устроенную против его палат.

Слова эти были встречены криком восторга:

– Да здравствует отец наш, Иоанн Васильевич, с матушкой великой княгиней, с чадами и со всеми потомками своими!

Толпа хлынула к месту пиршества.

Между двух столбов, находившихся друг от

друга на значительном расстоянии, были протянуты веревки, на которых висели калачи и мясные окорока; на стоявших тут же столах были нагромождены кучи пирогов, караваев, пышек, блинов, сырников и других яств. Возле столов стояли чаны с брагой и медом.

Угощение народа началось.

Назарий заметил между сановниками, сопровождавшими возок великого князя Ивана князя, Стригу-Оболенского, и последний, также узнав его в толпе, протолкался к нему и, заключая его в свои объятия, изумленно спросил:

– Какими судьбами очутился ты здесь?

– И сам хорошенько не знаю, как занесло нас сюда с товарищем, – отвечал Назарий, указывая на Захария, – и ответить не решусь: волей али неволей?

Захарий отвесил князю неуклюжий поклон.

Последний продолжал смотреть на них вопросительно.

– Впрочем, здесь не место и не время рассказывать! – добавил Назарий.

– Так пойдете ко мне и отдохните у меня,

а там я вас представлю нашему высокому имениннику, – сказал князь Стрига-Оболенский.

Все трое двинулись из Кремля в хоромы княжеские, находившиеся поблизости.

Быть представленными великому князю и было целью приезда новгородцев, а потому обещание Стриги-Оболенского пришлось им очень кстати.

XXII. Царь

Иоанн III Васильевич, царствовавший с 1462 по 1505 год, первый из русских государей стал именовать себя царем и был одним из величайших монархов России. Он довершил труды своих предшественников в собирании русских отдельных княжений в единое государство и своими мудрыми делами ясно указал цели и наметил тот путь, по которому и пошли потом его преемники вплоть до наших времен.

С 1425 по 1462 год в Москве был великим князем внук Дмитрия Донского, Василий Васильевич Темный. Много этот князь потерпел несчастий на своем веку, но великое удоволь-

ствие доставлял ему подраставший сын Иван. Слепой князь прозирал духом великую будущность сына, и, кроме того, эта будущность была ему предсказана, когда Иван был еще отроком.

В Москву приезжал ходатаем за буйных своих сограждан один из святых мужей новгородских, архиепископ Иона. Во время беседы его с великим князем о делах Руси внезапно вошел в горницу сын и наследник Васильев, Иван.

Святитель взглянул на него и сказал:

– Вот кому Бог пошлет свободу от власти ордынской.

Затем долго в молчании глядел на отрока, на его разумные очи и вдруг закрыл лицо свое руками и, заплакав, сквозь слезы произнес:

– Отрок сей приведет и мою родину, Великий Новгород, под свою руку.

Василий Темный умер в 1462 году, 17-го марта. Ему наследовал этот Иван, или Иоанн, двадцати двух лет от роду.

Двадцать лет прошло со времени взятия турками Царьграда.

В это время греки, – даже те, которые понадеялись было на папу и подписали соединение вер, – поняли, что спасение их может выйти только из самого православия, и так как из православных государств в то время, очевидно, возвышалось одно государство Московское, то на Москву и обратились с надеждой очи всего Востока.

У греков завязались теснейшие отношения с Москвой. Патриарх греческой церкви сам не мог приехать в Москву: ему нужно было бодрствовать за свою паству в отечестве; он и благословил российскому духовенству самому, соборно, выбрать себе митрополита.

Но звание защитника церкви, – лежавшее по преемству от святого Константина Великого, на греческих царях, – греки задумали передать торжественно и по всем правам государю московскому.

Дело это они устроили таким образом.

Многие из греков проживали в Риме, но лишь по наружности признавали папу. Они, и особенно грек, кардинал Виссарион, стали внушать папе Пию II мысль, что с великим князем московским можно обделать разом

два дела: обратить его в католичество и получить помощь для борьбы с турками. Для этого надо-де постараться женить его на племяннице последнего греческого императора Константина Палеолога, Софии, которая в приданое принесла бы ему свои права на престол Константинов и обратила бы самого его в католичество; он-де вдов, молод и против женской прелести и хитрости не устоит.

Папа с радостью ухватился за эту мысль и послал в Москву сватом грека же Георгия.

Это сватовство, как сказано в нашей летописи, «Иван Васильевич взял в мысль», и, поговорив с митрополитом и боярами, отправил в Рим смотреть невесту и вести переговоры своего посланца, итальянца, принявшего в Москве православие, Ивана Фрязина. Начались переписки, и дело длилось около двух лет. Наконец невесту отправили в Россию.

– Ну, дочь моя, – говорил, отпуская ее, папа, – послужи римскому престолу, и будешь ты великая из жен, если еретического царя Ивана приведешь в римскую веру.

Невесту провожал римский кардинал и хотел вступить в Москву торжественно, в своей

красной мантии и чтобы впереди его несли большой латинский крест.

Он намеревался и венчать жениха с невестой по римско-католическому обряду.

Но за несколько верст от Москвы крест ему велели спрятать; невеста, как вступила в Москву, так и объявила, что никогда не изменяла православию, – и в тот же день, 12 ноября 1471 года, была обвенчана с Иоанном Васильевичем в Успенском соборе митрополитом.

Кардинал начал было разговор о вере, но когда митрополит изложил ему всю римскую неправду, он замолчал, сказав, что не взял с собой нужных книг, не ожидая спора, так как Иван Фрязин говорил в Риме, что здесь все согласны на соединение вер. Ему отвечали, что вольно им было верить. Фрязин-де никаких грамот с собой о том не имел: и за ложь великий князь прогонит его с очей своих.

И точно, великий князь прогнал его, но ненадолго, – потом опять принял на службу.

Кардинал с тем и уехал.

Папа римский остался ни при чем.

Иоанн же Васильевич, женившись на греческой царевне, принял на себя права ее

предков, облачение императорское и герб византийских императоров – двуглавый орел.

Митрополит на торжественных службах, обращаясь к нему, стал называть его царем: «Божиею милостию радуйся и здравствуй, преславный царь Иван, великий князь всея Руси, самодержец»[43] – «Иван III».

В грамотах своих к иностранным государям он стал именоваться царем и императором. При дворе завел царские обычаи и чины, как было у греческих царей; иностранных послов стал принимать в порфире, в шапке древнего греческого императора Константина Мономаха, в его бармах и со скипетром в руке. Все эти царские украшения были Софьино приданое и привезены ею.

В глазах своих подданных Иоанн Васильевич уже стал монархом, требующим беспрекословного повиновения и строго карающим заслушание, возвысился до недостижимой царственной высоты, перед которой бояре и князья одного с ним корня должны были благоговейно преклоняться наравне с последним из его подданных.

Таков был Иоанн – первый русский само-

держец.

До него князья московские, начиная с Ивана Даниловича Калиты, и московский народ, словно молча, не понимая друг друга, трудились над освобождением от татар, и в этой молчаливой работе, в этой тайне, которую знали все, но и друг другу не высказывали, — чувствовали свою силу и свое превосходство над жителями прочих русских областей, которые жили сами по себе, а об общем деле не помышляли и тяготы его не несли, каковы были, например, новгородцы.

Теперь дело было сделано: от орды Русь была свободна. Народ русский, единый по крови, по вере и языку имел вместо многих князей одного государя. Удачи победы и великий ум Иоанна III еще более возвысили мнение русских о самих себе и о величии своего государя.

Когда же пал Царьград и с ним прирожденный защитник православия, царь греческий, и Иоанн Васильевич женился на греческой царевне и на него перешло, вместе с царским венцом и царскими регалиями, высокое звание, права и обязанности великого и единого

поборника истинной веры, тогда русские с гордостью стали говорить. – «Государя наши во всем свете единые браздодержатели святых Божиих престолов! Чистое православное учение только в богоспасаемом граде Москве удержалось и паче солнца светится! Два Рима пало, третий стоит, а четвертому не быть».

XXIII. Начало новгородской смуты

Прежде нежели мы последуем за Стригой-Оболенским и его неожиданными гостями в княжеские хоромы, расскажем вкратце историю новгородской смуты и причину таинственного появления двух официальных представителей Великого Новгорода в ненавистной, как мы видели ранее, ему Москве.

По новгородским хартиям значилось, что город Москва, Торжок и окружные земли издавна были под властью Великого Новгорода, но дед Иоанна III, великий князь Василий Дмитриевич, завоевал их и оставил за собой, по договорным же грамотам с сыном, великим князем Василием Васильевичем, прозванным Темным. Торжок снова обратился под власть новгородского веча, и прочие зем-

ли остались как бы затаенные за Москвой и помину об них не было. Думные и советные бояре новгородские много раз собирались на вече, чтобы решить, кому владеть ими. По праву они должны были оставаться за Иоанном Васильевичем, как приобретенные мечом, хотя и его предками. Так говорили разумные мужи, но молодость не хотела об этом и слушать.

«Подавай нам суд и правду!» – кричали они, не ведая ни силы, ни могущества московского князя. – «Наши деды и отцы были уже чересчур уступчивы ненасытным московским князьям, так почему же нам не вступить и не поправить дела. Еще подумают гордецы-москвитяне, что мы слабы, что в Новгороде выродились все храбрые и сильные, что вымерли все мужи, а остались дети, которые не могут сжать меча своей слабой рукой. Нет, восстановим древние права вольности и смелости своей, не дадим посмеяться над собой».

У новгородцев того времени текла в жилах не кровь, а кипяток: зарони искру в одного, и во всех – полымя.

Так случилось и тогда.

Думали, думали, с чего бы начать действовать? Явно напасть на владения великого князя не хотели, а может быть, и не смели, и потому начали действовать исподтишка, понемногу, захватя доходы его, воды и земли, заставляли присягать народ только именем Великого Новгорода, а о князе умалчивали, наконец, схватили великокняжеского наместника и послов и властью веча заключили их под стражу.

Великий князь, узнав об этом, прислал из Москвы гонца с требованием удовлетворения, но они его отослали без ответа.

Вскоре новгородский наместник Василий Ананьин поехал в Москву с земскими делами, но ни слова не сказал об этом деле великому князю. Последний сам сделал ему по этому поводу запрос.

– Я ничего не знаю, – отвечал Ананьин, – Великий Новгород не дал мне о сем никаких повелений.

Князь промолчал, но когда стал отпускать его в обратный путь, то промолвил прощаясь:

– Скажи новгородцам, моей отчине, чтобы

они исправились, заточенных освободили бы с честью, в земли мои и воды отнюдь не вступались, а имя мое держали бы честно и грозно по старине, исполняя обычай крестный, если хотят от меня милости и защиты. Прибавь им и накажи помнить, что терпению бывает конец, а мое истощается... Ступай.

После отъезда Ананьина великий князь, послав боярина Селиванова с грамотой псковитянам, приглашая их, в случае войны, быть готовыми выступить в поход с московскими дружинами против ослушников. Наместником в Пскове был тогда Федор Юрьевич, великий воевода, храбро гонявший немчинов, как стаю трусливых зайцев, от области ему вверенной. Псковитяне прислали великому князю судное право во всех своих двенадцати пригородах, а до тех пор московские князья судили и рядили только в семи, остальные же оставались в зависимости от народной власти.

Псковитяне предложили новгородцам свое посредничество между ними и великим князем, но совет новгородский им отвечал: «Если вы добросовестны и нам не вороги, а добрые

соседи, то вооружайтесь и станьте за нас против самовластия московского, а кланяться вашему владыке не хотим, потому что считаем это дело зазорным, да ходатайства вашего не желаем и не принимаем, а коли вы согласны на наше предложение, то дайте знать, тогда и мы сами будем вам всегда верны и дружественны».

Вместо ответа псковитяне сообщили обо всем великому князю.

Это не устрало новгородцев, они наделись на собственные свои силы и на мужество всегда могучих сынов св. Софии, как называли они себя, продолжали своевольничать и не пускали на вече никого из московских сановников. В это время король польский прислал в Новгород послом своего воеводу, князя Михаила Оленьковича, и с ним прибыло много литовских витязей и попов. Зачем было прислано это посольство, долго никто не знал, тем более что смерть новгородского владыки Ионы отвлекла внимание заезжих гостей.

Совет бояр и посадников, в числе которых был и Назарий, избрал протодьякона Феофи-

ла. Избрание произошло по жребию, взятому с престола св. Софии, куда был положен жребий протодьякона Феофила и ключника Пимена. Избрать то избрали, а постановить его надо было в Москве по древнему обычаю. Как тут ехать без согласия великого князя? Решились, однако, послать боярина Никиту с просьбой к нему, к его матери и к митрополиту. Великий князь оказал милость, дал опасную грамоту[44], по приезде Феофила в Москву и, отпуская его обратно, велел передать новгородцам:

– Он вами избран и принят был мною с честью. Я готов жаловать вас, мою отчину, и всегда, если вы чистосердечно признаете вину свою и не забудете, что мои предки чествовались великими князьями Новгорода и всея Руси.

Новопоставленный владыка Феофил, тронутый приемом и милостями великого князя, начал стараться прекратить распрю между ним и новгородцами и успел бы в этом, так как народ стал поддаваться на его увещания, но вдруг открылся мятеж со стороны никем не ожидаемой.

XXIV. Польская интрига

Вопреки наставлениям дедов и отцов, вопреки древним обычаям, запрещавшим женщинам принимать участие в политических делах народа, в один прекрасный день на вече появилась гордая, честолюбивая и хвастливая женщина – Марфа Борецкая. Она была вдова бывшего посадника, Исаака Борецкого, мать двух взрослых сыновей. Богатства ее были несметны, знатность, красноречие, гостеприимство были известны всем далеко за пределами Новгорода; благодаря этим качествам овладевала она думами людей, все подчинялись ее уму и умению излагать свои мысли. Слова ее так лились из ее уст, что ласкали слух и вместе подчиняли память до такой степени, что трудно было их изгнать из головы.

В одно из заседаний веча, где находился Назарий, вдруг в советную комнату вбежала, прорвавшись сквозь стражу стоявшую у входа, высокая, немолодая, хотя все еще красивая женщина. Вид ее был растрепан, покрывало на голове смято и отброшено с лица, во-

лосы раскинуты, глаза же горели каким-то неестественным блеском.

Это была Марфа.

Она остановилась, обвела глазами собрание и, не дав никому опомниться от неожиданностей, заговорила:

– Кого я вижу перед собой? Здесь ли вече Великого Новгорода? Куда девались советные мужи его? Я их не вижу! Это слабые ребята, которым пригрозили розгой, и они отступают от прав своих, отдают угнетенную родину, как агнца, в зубы хищного волка.

Она перевела дух.

– Сокройтесь отсюда, – грозно вскрикнула она. – Пустите нас, жен, на места свои: мы засядем в совете, мы будем защищать вас от врагов московских.

Долго говорила она, и что ни слово – все больше и больше лилось с ее языка яда, что ни взгляд – то упрек, презрение...

Но нахальство восторжествовало: речь ее подчинила себе новгородское вече, и с этого момента Новгород оказался в ее руках.

Подчинился ей и сравнительно молодой Назарий.

Присутствие ее стало на вече делом обычновенным.

Прошло несколько недель.

На одном из собраний она радостно объявила, что польский король прислал новгородцам запрос: не хотят ли они его помощи?

Немногие благоразумные из новгородцев поняли тогда, что означало прибытие Михаила Оленьковича с литовской дружиной, но даже и сторонники Марфы находили решение вопроса, задетого Казимиром, опасным.

– Предложение выгодно, но и в золотом кубке можно поднести яду! – слышались замечания.

Вече призадумалось.

Литовцы между тем бесчинствовали и грабили в городе, позволяли себе выражать неуважение к народным представителям даже на вече, куда были призваны для выслушивания ответов.

Архиепископ Феофил первый подал голос, что непристойно соединяться с латышами. К нему примкнули бояре: Василий Никаноров, Захарий Овин, Назарий и еще несколько других.

Борецкая, присутствовавшая на вече, встала.

– Слушайте, чтобы после не раскаяться. Король польский хотел быть заступником нашим, а вы, недостойные, не хотите признать и оценить его милостей. Он требует от нас дани менее Иоанна, обещает не притеснять нас и всегда стоять крепко за будущую отчину свою против Иоанна и всех врагов Великого Новгорода.

Многие стали было возражать ей, но наемные клеветы ее заглушили голоса возражавших криками:

– Не хотим Иоанна, хотим Казимира! Да здравствует Казимир!

Марфа снова победила.

Дело сделалось, покорились даже благоразумные, в числе которых был и Назарий. Приложили все руки и печати к роковой грамоте и послали ее с богатыми подарками к Казимиру, прося не одного заступничества, но и подданства, т. е. того, за что хотели поднять руки на своего законного правителя – Иоанна.

Вскоре от Казимира было получено подпи-

санное им согласие.

Статья седьмая этого договора гласила:

«Если ты примиришь нас с Иоанном, князем московским, то обязуемся выплатить тебе, господину честному королю, всю народную дань, состоящую в годовом окладе».

Из этого было ясно, что легкомысленных новгородцев не особенно прельщала перспектива подданства Литве и что скрытой задушевной их мыслью было примириться с Иоанном Васильевичем. Большинство рассчитывало, что он малодушно откажется от борьбы с Литвой.

Московские наместники были освобождены и жили спокойно на Городище. Им, конечно, не нравилась интрига Борецкой, но в правление новгородских посадников они не мешались и лишь отписывали обо всем великому князю. Новгородцы продолжали их чествовать, как представителей Иоанна, и убеждали их, что от последнего зависит навсегда оставаться другом св. Софии, а между тем, в Двинскую землю был уже отправлен воевода, князь суздальский Василий Шуйский-Гребенка, охранять ее от внезапного

вторжения московской рати.

Вскоре от великого князя Иоанна была получена грамота, в которой он уговаривал мятежников смириться. Митрополит в приписи увещевал их на то же самое и, соболезнуя о народе русском, писал, что вдаются они в ересь нечестивую, как в сети дьявола.

На вече снова заволновались умы, и снова победа осталась за Марфой и ее сторонниками.

Грамоту оставили без ответа.

Терпение Иоанна истощилось, и он прислал новгородцам складную грамоту, т. е. объявление войны, исчисляя в ней все дерзости, которые они нанесли его лицу.

XXV. Война

Многочисленное войско, предводимое самим великим князем, выступило против Новгорода. Иоанн убедил князя тверского Михаила действовать с ним заодно, псковитянам приказал выступить с московским воеводою Федором Юрьевичем Шуйским, по дороге к Новгороду, устюжанам же и вятчанам идти на Двинскую землю под начальством Василия Федоровича Образца и Бориса Слепого-Тютчева, а князю Даниилу Холмскому – на Рузу.

Сын князя Оболенского-Стриги, Василий, с татарской конницей спешил к берегам Мечи, с самим же великим князем отправились прочие бояре, князья, воеводы и татарский царевич Данияр, сын Касимов. Кроме того, молодой князь Василий Михайлович Верецкий, предводительствовавший своими дружинами, пошел окольными путями к новгородским границам.

Новгородцы, наскоро набрав войско из разных званий и состояний, выступили против москвитян.

Войска встретились у самого Ильменя.
Завязалось жаркое дело.

Среди новгородцев было много новобранцев, а потому войско их не выдержало натиска дружин князя Холмского и боярина Федора Давыдовича и бежало.

Москвитяне победили, бросились вслед за беглецами. Началась страшная резня. Множество пленных новгородцев были трофеями победы. Им отрубили носы, уши, губы и искалеченных отпустили в Новгород, а отнятое оружие топили в Ильмене.

«Изменническим оружием мы не нуждаемся!» – говорили москвитяне. Такой же перевес оказался везде на стороне последних. Среди пленных были посадники, начальствовавшие над войском, воевода Казимир и сын Марфы, Дмитрий Исааков Борецкий.

Боярский сын Иван Замятин представил их всех великому князю, находившемуся в Яжелбицах, и вручил ему договорную грамоту с королем польским, эту законопреступную хартию – памятник новгородской измены. Ее нашли в обозе, перехваченном еще накануне битвы.

Некоторых из пленных казнили на месте, а других, скованных, отослали в Коломну.

Оставалась одна опора Новгорода – князь Василий Шуйский-Гребенка, но вскоре пришла весть, что он, разбитый и раненый, бежал в Холмогоры. Явившись с полей битвы, обрызганные кровью и искалеченные воины произвели панику в городе – новгородцы спохватились. Им жутко стало и стыдно. Понадеялись на Литву, а литвины сами только вредили им: Михаил Оленькович бежал еще ранее битвы и по дороге разграбил Рузу. В Новгороде остался только советник Марфы, шляхтич Зверженовский, которого она скрывала в своем доме от народной ярости.

Уныло загудел, как бы застонал, вечевой колокол. Сошлись на вече сыны святой Софии с поникшими головами. Думали, гадали и, наконец, решили во чтобы то ни стало сопротивляться.

Повсюду наступил голод, появились недруги, продовольствия было взять неоткуда, так как все обозы перехватывали москвитяне. Воины новгородские с башен и бойниц валились мертвые грудями, да, кроме того, некто

Упадыш, бывший до того времени верным слугою отечества, заколотил стенные огнеметы и этим довершил бессилие новгородцев к защите.

Упадыша отыскали, отрубили ему голову и труп бросили в ров.

В то же время пришло в Новгород известие о казни именитых посадников и в числе их Дмитрия Борецкого. До тех пор никто из великих князей не решался покуситься на жизнь первостепенных бояр новгородских.

Архиепископ Феофил вразумил своих сограждан просить у грозного Иоанна и взялся сам ходатайствовать перед лицом его о прощении.

Новгородцы дали ему свое согласие и полную свободу действий при заключении мира, и он со свитою, в которой находился Назарий, отправился к великому князю.

Смиренно преклонило посольство перед ним свои головы и упросило смилостивиться над своим народом и поберечь свою отчину.

Порешили на том, чтобы внести в его казну 50 пудов серебра[45], а затем платить ежегодно черную, или народную дань, возвра-

тить ему прилегающие к Вологде земли, берега Пинегы, Мезени, Нелевючи, Выи, Песчальной Суры и Пильи горы. Эти места были уступлены Василию Темному, но после новгородцы снова отняли их. Архиепископов обязались ставить в Москве, у гроба св. Петра-чудотворца, в доме Богоматери, не принимать врагов великого князя: князя Можайского, сыновей Шемяки и Василия Ярославича Боровского, отменить вечевые грамоты и обещались не издавать судных прав без утверждения и печати великого князя, и многое другое, и по обычаю целовали крест в уверение в исполнении ими всего обещанного.

Великий князь помирил со своей стороны новгородцев с псковитянами, и боярин Федор Давыдович, взяв на вече присягу, тем закончил дело.

Мир был заключен.

Марфа Борецкая скрылась в свои вотчины, но про нее великий князь не обмолвился ни словом в договорной грамоте, как бы презирая слабую жену.

Простился он с новгородцами приветливо и со славой возвратился в Москву.

В Новгороде наступила тишина и спокойствие.

Хотя он много потерял, но зато приобрел сильного защитника против других хищников.

За три года до приезда Назария в Москву великий князь посетил Новгород, был встречен с почестями и в особенности среди новгородских сановников отличил Назария.

Последний, действительно, честно и искренно служил своему отечеству и рукой и головой, но почти перед самым приездом великого князя был обойден своими согражданами, – его обошли посадничеством и избрали по проискам Борецкой какого-то литвина.

Назарий, беседуя с Иоанном, высказал ему свою обиду и открыл ему свое сердце.

– Я стерпел за себя, но не могу стерпеть за отечество, – заключил он свой рассказ, – так как чует мое сердце, Марфа снова завладеет новгородскими думами.

Иоанн предложил ему приехать к нему в Москву и от имени Новгорода назвать его государем, что означало бы полное подданничество.

Назарий попросил время на размышление.

Три долгих года обдумывал он этот роковой шаг – одним словом передать во власть Москвы свое отечество.

Сильно и часто за эти годы билось его сердце. Жаль было ему родины с обеих сторон, но что было делать? Лучше отдать своему, чем чужим!

Назарий решил прибыть в Москву.

XXVI. В доме князя Стриги-Оболенского

– Ну, теперь мы одни, – сказал князь Оболенский, усаживая гостей своих в светлице на широких дубовых лавках, покрытых суконными настилками. – Поведай же мне, Назарий Евстигнеевич, так как мы с тобой считаемся кровными и недальними, – ты мне внучатый брат доводишься, – волею или неволею занесла вас лихая стужа к нам, вашим врагам?

– Не знаю, брат, – отвечал Назарий, – как тебе на это ответить, тут все есть: и воля, и неволя.

– Да уразумел ли ты вопрос мой, на что он

метит и о чем я речь веду?

– Как не уразуметь! А ты бы нас сперва напоил, накормил да спать уложил, а после бы и спрашивал: зачем-де вы, дальние птицы, прилетели на чужбину? Здесь не накормят вас пшеницей ярой, а с вас же последние перышки ощиплют, – заметил Захарий.

– И, ведомо, так – сказал улыбнувшись Оболенский. – Вы народ хитровой, сперва надо расплавить задушевные речи винцом горячим, а там они уж сами с языка польются.

Вскоре слуги устали стол яствами и пиятиями и удалились.

– С тобой как с кровным, сердечным и старшим, – начал Назарий, машинально принимаясь за пищу, – хочу я вместе побеседовать, чтобы раздумать думу крепкую и растосковать тоску тяжелую.

– Ты знаешь, брат, – отвечал Оболенский с дрожью в голосе, – я теперь сир и душой и телом, хозяйка давно уже покинула меня и если бы не сын – одна надежда – пуще бы зарвался я к ней, да уж и так, мнится мне, скоро я разочтусь с землей. Дни каждого человека сочтены в руке Божьей, а моих уж много, так гово-

ри же смело, в самую душу приму я все, в ней и замрет все.

– Потому-то я тебя и избрал, как образец честности. Дело такого рода, – заговорил Назарий, поставив на стол кубок и отодвинувшись от стола.

– Так говори же, не мешкай, и у меня кусок колом становится в горле, – вопросительно взглянул на него князь, положив на стол ложку.

– Начну тебе издалека, как взбаламутились земляки мои. Помнишь ли, что было лет за пяток перед сим? Подробно ты не знаешь, впрочем, как и почему все случилось...

– Да, я оставался тогда править Москвой вместе с братом великого князя, Андреем меньшим, а сын мой Василий направился отсюда с татарской конницей прямехонько на берега реки Мечи, – прервал его князь Иван.

– Не забудьте меня в присловьи, – сказал насытившийся Захарий, прислонясь спиной к стене, – а я немного прикорну.

Назарий начал свой рассказ. Он подробно передал князю Стриге-Оболенскому все то, что уже известно нашим читателям из

предыдущих глав, и высказал ему свой уговор с великим князем и цель своего приезда в Москву.

– Но где ты добыл себе этого чудака? Кто он таков? – вполголоса спросил Оболенский, указывая на Захария, который давно уже, сидя на лавке, раскачивался всем телом с полуразинутым ртом в приятном усыплении.

– Его подкупил наместник московский со-
путствовать мне, он дьяк веча, чтоб в случае надобности, приложить и его руку в доказательство новгородцам, что мы посланы от них. Происками своими он сумел достигнуть такого важного чина. С виду-то он хоть и прост, неказист, но хитер, как сатана, а богат, как хан.

Назарий замолчал и лишь после довольно продолжительного раздумья, не прерываемого деликатным хозяином, заговорил снова:

– Все готов я перенести, даже отдать под топор повинную голову, если князь ваш не исполнит обещанных условий, но чем принять казнь Упадыша. Из любви к Новгороду поступил он так, чтобы спасти его и не дать повод разгромить его. Вот что выпытали у

него перед смертью. А я подал голос против него... я открыл его измену!.. Живо помню я то время... как теперь гляжу я на эти седины, вдруг обагрившиеся алою кровью... А что тяжелей всего – с тех пор пропал без вести малолетний сын его... не призренный никем сирота. Должно, умер он с голода или с холода! Эта мысль душит, терзает меня!

Наступило снова унылое молчание.

Вдруг князь Иван произнес как бы вдохновенно:

– Ты не виновен!..

Точно пудовая тяжесть скатилась с души Назария, взгляд его просветлел.

– Почему же ты считаешь меня белым между черными?

– Потому что ты был только окутан черными пеленами, но, когда ангел Господень охраняющий всякого человека, внушил тебе оборвать таинственные сети, сплетенные рукою дьявола, ты вышел из них. И влас главы твоей не погибнет по слову Божию, без Его произволения. Сын же мученика Упадыша, если жив, то, поверь, бережется также Отцом Небесным и призрен добрыми людьми. Судь-

ба темна и мудрена. Может быть, ты найдешь его, заменишь ему родителя, и сойдет на вас благословение Неба. Доверши же начатое. Тебе еще мало ведом князь наш, но когда сам узнаешь, кого нам послал Господь в лице его, то возрадуешься и совершенно успокоишься. Видно, молитва православных нашла его и наступили времена светлые для нас, уже не те, когда Москва светилась только заревами и раздиралась на части. Выстрадала она, сердечная, долю свою.

С сердечным умилением прислушивался Назарий ко всякому слову князя. Вдруг спящий Захарий встрепенулся и вскочил:

– А что? Пора? – бормотал он, вытаращив глаза.

Назарий невольно улыбнулся:

– Ты, видно, думаешь, что мы все еще в дороге? Эх она убаюкала тебя... Не очнешься...

Насмешливый тон Назария омрачил лицо новгородского дьяка в ту минуту, когда довольная улыбка было осветила его.

– Теперь время отправляться и в палаты великокняжеские! – заметил Оболенский.

Назарий вздрогнул.

– И там должно все решиться! – прошептал он.

– В руках у Него милостей много. Не нам судить и разбирать, к чему ведет Его святой Промысел. Нам остается верить только, что все идет к лучшему! – сказал князь Иван, указывая рукой на кроткий лик Спасителя, в ярко горящем золотом венце, глядевший на собеседников из переднего угла светлицы.

Назарий вздохнул с облегчением и, осенив себя крестным знамением, твердой походкой вышел вслед за князем и Захарием.

XXVII. В палатах великокняжеских

На широкий великокняжеский двор вела по Кремлю извилистая дорога, убранная по сторонам воткнутыми елками и березками и усыпанная белым песком с Воробьевых гор.

Народ, после только что окончившейся пирушки, данной ему великим именинником, толпился по этой дороге в ожидании проезда во дворец бояр, князей и прочих сановников.

В иных местах слышалась залихватская песня, прерывавшая несмолкаемый говор толпы, – все были пьяны, довольны, веселы.

Но вот показался боярский поезд, потянулась цепь разнокалиберных возков и колымаг, и народ, заслышав стук колес и конских копыт, раздвинулся на две стороны, чтобы дать дорогу проезжающим.

Иные сторонились по собственной воле, а иные – вследствие неоднократного убеждения нагайками, которыми боярские вершники или знакомцы, в цветных платьях с большими бубнами в руках, скакавшие перед каждой повозкой, щедро наделяли всякого, медленно сворачивавшего с дороги.

– Что ты, охальный холоп, озорничаешь!

– А что ты, нетрониха, медведь, чуть поворачиваешься!

Эти возгласы слышались то и дело.

Поезд тянулся непрерывною полосой, и в нем, в одной из повозок, находился князь Стрига-Оболенский со своими гостями Назарием и Захарием. Не доезжая до высоких, настежь отворенных дворцовых ворот, все поезжане вышли из колымаг и возков и отправились пешком с непокрытыми головами к воротам, около которых по обеим сторонам стояли на карауле дюжие копейщики, в светлых

пишаках и крепких кольчугах, держа в руках иные бердыши, а иные – копья.

Около ворот теснилась придворная челядь, глядя на великокняжеских гостей: псаря, сокольники, кречетники, ястребники, кашевары, медовары, пивовары, ясельники[46], подьяки из писцовой и других палат и приказов, шарашничьи[47], стременные, стольничьи и проч.

Обширный двор дворцовый разделялся на маленькие дворы. В одном месте высились терема, вышки, в другом виднелись низкие кирпичные своды погребов, где хранились вина: волжские, греческие, фряжские, венгерские, брага отличных сортов и мартовские квасы.

Около самой Красной палаты, то есть приемной залы, двор расширялся в площадь, на которой тоже теснились люди из дворцового штата, а также юродивые и увечные нищие, разместившиеся у заднего крыльца палаты и получавшие мелкие деньги из рук дворцовых стряпчих[48], а получившие сидели по сторонам дороги, поджав ноги и кланяясь гостям, выискивая между ними себе милостивцев.

По ступеням парадного крыльца и по косо-
му коридору палаты змеился кармазинный
ковер, тянущийся по длинным и круглым с
каменным полом полутемным сеням, так как
освещавшие их смежные и узкие окна были
расположены в самой верхней части купола.
В конце сеней были другие двери, охраняв-
шиеся двойной стражей копейщиков, ведущие
в прихожую, в которой суетились высшие
придворные чины: кравчии, стольники, каз-
начая, постельные, чайники, комнатные дво-
ряне, степные ключники, путевые ключники,
горошники, комнатные стражи, или гридни,
и другие.

Все бояре, которых считалось при великом
князе Иоанне III Васильевиче до двадцати,
были в светлом, т. е. праздничном платье,
степенно раскланивались между собою и с
придворными и с удивлением, искоса, по-
сматривали на новых лиц – на Назария и За-
хария.

В ожидании приема их великим князем
для принесения поздравления и поднесения
поклонных даров, они вполголоса беседовали
друг с другом.

Вдруг кто-то произнес магические слова:
– Т-с... великий князь!

Все разом смолкло. Двери в Красную палату распахнулись.

Опишем вкратце внутреннее убранство этой палаты. В то время в России было еще мало вкуса и материалов для уборки комнат. Стены ее были обиты вызолоченными голландскими кожами, – на одной из этих стен висели две большие картины в кипарисных рамах, изображавшие притчу о блудном сыне и о трех отроцах, в печи сожженных, – вывезенных из Греции великою княгинею Софией Фоминишной и считавшихся тогда большой редкостью; на другой стене, в таких же рамах, висело несколько картин мозаической живописи с изображениями рыб и птиц. Пол был устлан широким персидским ковром с вычурными узорами. Про передний угол и находившуюся в нем большую божницу и говорить нечего. Иконы горели как жар; дорогие камни и жемчужины, унизывавшие их золотые венцы переливались всеми цветами радуги.

Великий князь, одетый в богато убранную из золотой парчи ферезь, – по которой ярко

блестели самоцветные каменья и зарукавья которой пристегивались застегнутыми, величиною в грецкий орех, пуговицами, – в бармы [49], убранные яхонтами, величественно сидел на троне с резным невысоким задом из слоновой кости, стоявшем на возвышении и покрытым малинового цвета бархатной полостью с серебряной бахромою; перед ним стоял серебряный стол с вызолоченными ножками, а сбоку столбец с полочками[50], на которых была расставлена столовая утварь из чистого литого серебра и золота.

Над головою великого князя висела, искусно утвержденная к потолку, богатая, украшенная драгоценными каменьями корона, из-под которой спускался балдахин из голубой парчи с серебряными звездами, поддерживаемый двумя поставленными крест-накрест копиями, увитыми цветными гирляндами.

По сторонам трона стояли оруженосцы, или телохранители, великого князя, называвшиеся рындами, в белых длинных отложных кафтанах и в высоких, опушенных соболями, шапках на головах. На правом плече они дер-

жали маленькие топорики с длинными серебряными рукоятками и стояли, потупя очи и не смея шевельнуться.

Бояре, впущенные в палату, стали низко кланяться великому князю; он в свою очередь ласково приветствовал их наклонением головы. Каждый по очереди подносил ему на больших блюдах разную хлеб-соль: караваи, сгибень, именинные пироги, и проч. На блюдах под ними лежало еще по несколько пенязей. Князь Михаил Верейский, отец Василия Верейского, давно был у него и поднес ему серебряное блюдо, полное разных дорогих камней. Великий князь, принимая от каждого боярина хлеб-соль, давал в знак милости своей целовать свою руку[51] и ставил дары перед собою на стол.

По окончании поздравлений, духовник великокняжеский стал говорить молитву, затем поставил под иконами водоосвященные свечи, освятил воду и, обернув сосуд с нею сибирскими соболями, поднес ее великому князю, окропил его, бояр и всех находившихся в палате людей. Великий князь встал, проложился к животворящему кресту и поднятому

из Успенского собора образу св. великомученика Георгия, высеченному на камне[52], а за ним стали прикладываться и другие.

По окончании богослужения великий князь снова сел на трон, а слуги стали накрывать столы: один для великого князя и князей Верейских, другой, названный окольниковым, для избранных и ближних бояр, и третий, кривой, для прочих бояр, окольниковых и думных дворян.

Князь Стрига-Оболенский, взяв за руку Назария и Захария, подвел их к великому князю и, низко поклонившись, сказал:

– Представляю тебе, государю и великому князю моему, сих двух людей... Вот этот, – указал он на Назария, – посадник новгородского веча, а сей – дьяк веча, – он указал на Захария. – Оба они прибыли к тебе, великому князю и государю своему, с делами подлежащими до тебя, и посланы к тебе собором всего веча.

Окончив представление, князь Оболенский отошел в сторону.

Только очень зоркий взгляд постороннего наблюдателя мог заметить изменившееся на

мгновение выражение лица великого князя: взгляд его радостно заблестал. Но Иоанн, как тонкий политик своего века, тотчас овладел собою и ласково, но равнодушно ответил на низкий поклон неожиданных гостей. Он ждал их, но не так скоро.

После этого официального приветствия великий князь встал со своего трона и прошел в соседнюю храмину, подавая знак приезжим новгородцам следовать за собою.

Назарий и Захарий последовали за Иоанном.

Удивленные бояре столпились вокруг князя Стриги-Оболенского, ожидая узнать от него подробности и цель приезда новгородских представителей.

XXVIII. Пред лицом великого князя

Назарий и Захарий были одни пред лицом Иоанна.

Перед ними стоял тот, слава о чьих подвигах широкой волной разливалась по тогдашней Руси, тот, чей взгляд подкашивал колена у князей и бояр крамольных, извлекал тайны из их очерствелой совести и лишал чувств нежных женщин. Он был в полной силе мужества, ему шел тридцать седьмой год, и все в нем дышало строгим и грозным величием.

– Ну, что, созрели ли думы твои? Решился ли ты быть спасателем твоего отечества? – спросил Иоанн Назария.

– Отечество мое взывает к тебе о помощи. Избавь его от крамольников и огради силою власти твоей. Передаю тебе его неискупно... невозвратно... Государь! Накажи беззаконие, притупи жало злобы... но не притесняй, защити и награди достоподобно добро, – отвечал Назарий.

– Суд и правду держу я в руках. Теперь дело сделано. С закатом нынешнего дня умчится гонец мой к новгородцам с записью, в кото-

рой воздам я им благодарность и милость за их образумление. Пусть удивятся они, но когда увидят рукоприкладство твое и вечаевого дьяка, то должны будут решиться. Иначе, дружины мои проторят дорожку, по которой еще не совсем занесло следы их, и тогда уж я вырву у них признание поневоле.

– Государь, меч твой не обсох еще, а ты уже опять думаешь о крови... не заставь меня клясться, как Иуду, и...

– Даю тебе клятву, – перебил его великий князь, – ни одна кровинка не скатится на родную землю твою, если они не будут упорствовать... И долго тогда я постараюсь сберечь ее от гибели – ведь она русская, моя...

– Понимаю: мертвить, но не умерщвлять, – возразил с ударением Назарий.

– Раб, вспомни, перед кем ты стоишь и с кем дерзаешь перекоряться!.. Рассуди, что и без кротких мер я в силах навлечу на Новгород мечом своим и повергнуть его в прах! – вскричал Иоанн, и глаза его сверкнули гневом, а щеки покрылись румянцем раздражения.

– Государь! Яви милость, прости меня, –

преклонил колена Назарий. – Рассуди и сам, – продолжал он, закрыв лицо руками, – что отдаю я тебе и на кого обрушится проклятие?

– Встань, я прощаю и понимаю тебя. Если ты признаешь справедливыми слова мои и держишься того же мнения, что земляки твои мечем своим не столько защищаются, сколько роют себе гибельную пропасть, то согласишься, не должно ли отобрать у них оружие? Если же они добровольно не отдадут его, то надо вырвать насильно, иначе они, как малые дети, сами только порежутся. Просвети же душу свою спокойствием и надеждой на меня.

– Я дело свое окончил и от тебя, наконец, услышал слово ласковое... с меня довольно.

Иоанн обратился к Захарию:

– А ты доволен ли дьяк?

– Я не прочь. С моей стороны, что обещано, все исполнится, – отвечал Захарий, переминаясь с ноги на ногу.

– И с моей тоже, – сказал великий князь и, отыскав в сундуке своем, обитом железными обручами, кису, туго набитую деньгами, поднес Назарию и сказал:

– Знаю тебя давно, а потому не могу предложить принять это. Чем же наградить тебя, говори смело!

– Вечной милостью твоею к старой отчине твоей, новоприобретенной тобою в вечное владение. Золото же твое горит, как жар, я страшусь принять его: оно прожжет руку мою; звук его будит совесть, а не усыпляет ее. Благодарность Всевышнему, она еще бодрствует во мне, благодарность и тебе, государь, что ты не обижаешь меня подношением твоего гостинца. Все сокровища московские скудны ослепить очи души моей. Разум, доблесть твоя подкупили меня, закабалили в твою полную волю. И не страх грома оружий твоих вынудил меня решиться предаться тебе. Не столько мечом, сколько речью пронзаешь ты грудь. Теперь я весь твой...

Государь милостиво взглянул на него и крепко пожал ему руку, которую Назарий с чувством поцеловал.

Направляясь назад в Красную палату, Иоанн опустил в жадно-протянутые руки Захария отвергнутую Назарием кису.

Последний принял ее с довольной улыб-

кой и, вероятно, тоже опасаясь, чтобы она не прожгла ему ладоней, быстро отправил ее за пазуху.

Накрытые столы ломились от множества поставленных на них блюд, кубков, чар, стоп и бражек. Чашники, каравайники и гридни суетились около них.

Великий князь, войдя с веселым лицом в круг своих верховых[53], объявил им, что новгородцы прислали к нему этих двух имени-тых мужей, – он указал на Назария и Захария, – поклониться и назвать его государем своим от лица архиепископа, веча и всего Великого Новгорода.

– Изготовься с провоженною дружиною ехать к ним в повечерье. Я хочу обослаться с ними вестью и спросить их, что разумеют они под словом «государь»? – обратился он к боярину Федору Давыдовичу.

– Что разуметь иное, – отвечал Федор Давыдович, – как не совершенное покорение их под власть твою, государь!

Начались шумные поздравления и клики непритворной радости.

– Насилу-то хватились за ум!

– Что, видно, Литва-то не по губе пришлась!

– Не как прежде таращились!

– Спешили мы их!

– Теперь одной грудью будем отстаивать Русь святую!

– Теперь пора ближайшую соседку, Тверь, добыть мечом! – воскликнул кто-то.

– Вестимо, – подхватили другие, – вишь, слухи носят, будто и к ним Литва бесовская привела чуму свою.

Великий князь приказал бирючам[54] разгласить народу о прибытии послов новгородского веча и выкатить ему еще несколько бочек вина, а гостей пригласил к трапезе.

Почетный пир начался.

Когда он близился к концу, Иоанн повелел принести запись к новгородцам, и дьяк, составивший ее, прочитал ее вслух. Назарий и Захарий приложили свои руки, а боярин Федор Давыдович почтительно принял ее от великого князя, обернул тщательно в хартию, в камку, спрятал ее и, переговорив о чем-то вполголоса с Иоанном, поклонился ему и вышел поспешно из палаты.

– Быть войне! – шепотом заговорили бояре.
– Да, не миновать! – отвечали тихо другие.
– Дело сделано, полно крушиться, – заметил Стрига-Оболенский задумавшемуся Назарию.

– Да, не воротишь, – вздохнул тот. – Теперь, может, уж роковая запись мчится...

– Не только врата моих хором, но и сердце всегда для тебя открыто, честный боярин! – сказал великий князь Назарию, прощаясь с ним.

Мы знаем, какое впечатление произвели в Новгороде полученные записи Иоанна, и знаем также ответ на нее мятежных новгородцев.

Часть II

ПОД ВЛАСТЬ МОСКВЫ



I. На берегу Наровы

Остзейские провинции были некогда достоянием Великого Новгорода и полоцких князей. Незадолго до нашествия татар и вторжений литовских полчищ начали исподтишка, в малом числе, показываться монахи и рыцари на ливонских берегах и с дозволения беспечных новгородцев и полочан, строить замки и кирки. Когда две кровавые тучи, одна после другой, с востока и запада покрыли всю раздробленную Россию, тогда и наши немцы, усиленные прибытием многочисленных сподвижников, начали расширяться на севере. Татары нагрянули, вломились, немцы же вос-

пользовались гостеприимством и засели, мечом начали крестить несчастных эстов и скоро захватили два русских города, Юрьев и Ругодив (нынешние Юрьев и Нарву), не считая селений, переименованных ими на немецкий лад; если бы не могущество республик новгородской и псковской, они бы проникнули во внутренность России.

В описываемое же нами время их самих в захваченных ими владениях часто беспокоили новгородские вольные дружины, под предводительством молодцов охотников.

В борьбе с издревле ненавистными для русского человека немцами искали вольные дружинники ратной потехи, когда избыток сил молодецких не давал им спокойно оставаться на родине, когда от мирного безделья зудили богатырские плечи. Клич к набегу на «Божьих дворян», как называли новгородцы и псковитяне ливонских рыцарей, не был никогда безответным в сердцах и умах молодежи Новгорода и Пскова, недовольной своими правителями и посадниками – представителями старого Новгорода.

Немцы со своей стороны не принимали

меры к ограждению себя от набегов русских и платили им за ненависть ненавистью, не разрешая вопроса о том, что самовольно сидели на земле ненавистных им хозяев. Они и в описываемую нами отдаленную эпоху мнили себя хозяевами везде, куда вползли правдою или неправдою и зацепились своими крючковатыми лапами.

С берегов реки Москвы перенесемся же и мы, читатель, в страну этих немецких пауков, на берег реки Наровы, вслед за дружиной новгородскою, под предводительством Чурчилы и Дмитрия, покинутых нами, если припомнит читатель, при выезде их из Новгорода.

В трех верстах от города Нарвы, близ местечка Кулы, река Нарова образует водопад, и светлые ее воды с шумом низвергаются с высоты 14 футов по острым, как бы отточенным, камням, разбиваясь об них в мельчайшие брызги, далеко по сторонам рассыпая водную пыль и разнося однообразно гудящие звуки.

Невдалеке от берега на разостланных войлоках сидели знакомые нам Чурчила и Дмитрий.

Оба молчали, погруженные в глубокую думу.

Вокруг них, вповалку, лежали товарищи, плотным кольцом окружая своих предводителей.

Царившая тишина нарушалась лишь гулом водопада, а вокруг этого стана вольных дружинников расстилались необозримые обнаженные поля и дымилось селение Кулы, накануне взятое ими на копье и выжженное дотла.

Все дружинники были в полном вооружении, что доказывало, что они не намерены были ограничиться вчерашним пожаром, а были готовы вскочить на коней и ринуться за новой добычей.

Их сильные шишаки, кроме наличников, имели назади опущенные сетки, сплетенные из железной проволоки, а наборные доспехи кольчуг, охватывающих и груди, доходили до колен, на ноги, кроме того, были надеты набедренники.

Чурчила первый прервал молчание.

– Куда же нам теперь метнуться? Разве на крепость Ниеншанц[55]. Догромить ее? –

спросил он, ни к кому особенно не обращаясь.

– Мы и так в ней не оставили камня на камне, хотя и не спалили ее, как эту, – ответил Дмитрий, указав рукою на погорелые Кулы.

– Мне, надо сознаться, не хотелось об нее и рук марать, да все ж эти железные дворяне Божьи сами стали задирать нас, когда мы ехали мимо, пробираясь к замку Гельмст, – они начали пускать в нас стрелы... У нас ведь и своих много, – заметил Чурчила.

– Вестимо, не спускать же немчинам, – вставил свое слово один из дружинников, Иван, по прозвищу Пропалый, и поправил свой меч, висевший на широком ремне через плечо.

– Не пора ли и восвояси, кажись, довольно побушевали, – сказал Дмитрий.

– Восвояси! – воскликнул с горечью Чурчила. – Да лучше в ад кромешный! Давно ли мы здесь, да и что делали? Это была не драка, а ребячья игра!..

– Выгодная присказка, особенно когда не пропадет охота мериться плечом с сильным врагом, – промолвил Пропалый.

– Да, когда разойдется рука, только помни это присловье, стыдно уж станет попятиться, – сказал Чурчила.

– Мы, кажись, так и поступаем, а ты служишь примером, я был всегда твоим однополчанином и следую давно этому правилу. Верно ли говорю я? – спросил Чурчилу Дмитрий.

– Что тут говорить, конечно так. Да и к чему это? Разве мы сомневаемся в тебе, Дмитрий. Не тебе бы это говорить, не мне бы слушать...

– Да так, к слову пришлось. А теперь, когда я доподлинно знаю, что слова мои не сочтешь за язык трусости, я далее поведу речь свою. Широки здесь края гарцевать молодцам, много можно набрать золота, вино льется рекой, да и в красотках нет недостатка, но в родимых теремах и солнышко ярче, и день светлее, да и милая милей. Брат Чурчила, послушайся приятеля, твоего верного собрата и закадычного друга: воротимся.

– Нет, родина теперь для меня – пустыня! Не смущай меня, не мешай мне размыкать грусть, или домыкать жизнь. Поле битвы те-

перь для меня – и отчизна, и пища, и воздух, словом, вся потребность житейская, только там и отдыхает душа моя – в широком раздолье, где бренчат мечи булатные и баюкают ее словно младенца песней колыбельною. Не мешай же мне! Я отвыкаю от родины, от Наси.

– А сам чуть не плачешь! Вижу, что затронул твою сердечную рану, но рассуди сам, враги рыкают как звери на родину нашу, да, может, и Настя не виновата. Сдается что-то мне, что мы с тобой сгоряча горячо поступили. Теперь же молодецкое сердце твое потешилось вдосталь, отдохнуло, так и довольно! Мы ведь здесь пятнадцатые сутки, а за это время много воды утекло, все изменилось и нас опять приголубит там счастье.

Чурчила повесил голову и задумался.

Вдруг Пропалый завидел всадника, который, заметя русский стан, торопился ускользнуть из его вида и поспешно своротил в сторону с дороги. Не вымолвив ни слова, быстро вскочил Иван на коня, вонзил в его бока шпоры, и звук копыт через мгновенье заглох вдали.

Дружинники опомнились лишь, когда Пропалый исчез из вида.

– Это какой-нибудь соглядатай, право слово, недруг нам! Семка, я помогу Ивану ссадить его с коня и допросить путем! – встал Дмитрий.

– Нет, не стыди и не обижай Пропалого, он и один заарканит его... Вишь, вон что-то чернеется вдали! Вон еще недалеко от него... Это он, кажись... догоняет, догоняет, близко... Лошадь его так и расстиляется; ну, остановился. Что это? Вдали утекает кто-то, а на месте, должно, возятся?

Все вперили взоры свои в туманную даль, и вдруг вся дружина захлопала в ладоши в радостном восторге.

Она приветствовала победу Пропалого.

II. Пленник

Иван в самом деле быстро возвращался назад, волоча за собою на веревке сраженно-го им всадника, конь которого радостно мчался без седока по широкому полю.

– Бог помочь! Как у вас дело обошлось? – посыпались ему навстречу вопросы...

– Обошлось очень просто... Молодецкий конь разом стал догонять чужака... Я ему крикнул: «Стой и отдай оружие», а у него, видно, норов-то упряма. Куда тебе! Вытащил меч из ножен и давай отмахиваться, не говоря ни слова, да шпорить коня. Я, видя, что словами не возьмешь его, послал вдогонку стрелу... Он в этот миг повернул в сторону, а стрела вонзилась в лошадь, получше чем его шпоры. Та закружилась под ним, подпруга, даром что кованая, разметалась в стороны, седло скользнуло на бок, а он с ним. Тут-то я и зацепил его, как волка, да и айда к вам. А лошадь его с перевернутым седлом понеслась вихрем, закусив удила, – рассказывал усталый Иван, соскочив с лошади, в кругу окруживших его товарищей.

– Ты, Пропалый, нигде не пропадешь, – сказал подошедший Чурчила, осматривая пленника. – Спасибо, товарищ, от всех спасибо! Однако раскупорить бы беглеца. Долой с него шлем и латы, не таится ли чего под ним.

Пойманный лежал недвижимо. Затянутый арканом, долго волочился он по кочковатой дороге за Пропалым, лицо его было во многих местах окровавлено, а налившиеся кровью глаза полуоткрыты.

– Латы его подбиты хлопчатой бумагой, должно быть, от стрел! – говорил один из дружинников, развязывая кольца и застежки вооружения пленника.

Затем он опустил руку в его котомку, вытащил кипу бумаг, бросил их по ветру и заметил:

– От этих латышей кроме пустых фляг да пробок ничего не дождешься!

– Постой, может, это нужные грамотки, – сказал Дмитрий, собирая разметанные по полю ветром бумаги и пристально вглядываясь в них. – Ишь, ведь как писали-то. Сам черт прежде ослепнет, чем разберет и поймет, что здесь написано; я малую толику знаю грамо-

те, а от этого отступлюсь. Этот лесной народ перенял язык у медведей, так диво ли, что по-нашему редкие из них смыслят.

– Лучше допросить его на словах, поделнее, так сознается, куда и зачем ехал и что содержится в этих бумагах. Быть может, они до нас касаются, – заметил Чурчила.

– Эй, оборотень, немчин бессловесный, вымолви что-нибудь! Кто ты таков и куда тебя Бог несет? Волею или неволею? – стал допытываться Иван, теребя за полу пленника.

Тот что-то глухо пробормотал и снова замолк.

– Да из него и обухом не выбьешь слова! – слышалось чье-то замечание.

– Промычал, да и на попятную. Так нет же, я выпытаю у тебя сознание. Вот как отпорю нагайкой, скажешься, нехотя весь рассыплешься в словах! – сердито закричал Иван, доставая нагайку, притороченную к седлу, и только хотел привести в исполнение свою угрозу, как кто-то из толпы закричал:

– Глянь-ка, братцы, назад. Видите, кто-то сидит на берегу, словно прирос к нему. Наши все здесь налицо, сорок пять человек, Чурчи-

ла, да Дмитрий, да Иван, никто из наших не отлучался с места, а этот, наверно, вынырнул из воды, окаянный.

– Ну, что же... Разом – к нему, хоть будь он нечистый: двух смертей не бывать, одной не миновать, мы же не нехристи, все с крестами.

Дружинники закричали и побежали толпой к сидящему на довольно далеком расстоянии от них.

При пленном остались Чурчила, Дмитрий, Иван и несколько дружинников.

– Это, кажется, наш русский. Эй, земляк, кто ты?.. Оглянись! – кричали ему взад дружинники, не решаясь подойти к нему поближе.

Незнакомец молчал.

– Друг ты наш или враг, отвечай?

– Постойте-ка, братцы, попробуем мы, возьмет ли наш гостинец! – сказал один из дружинников и начал натягивать тетиву у лука, и когда стрела, нацеленная в сидящего, готова была полететь в цель, незнакомец, как бы придя в себя, нетерпеливо крикнул зычным голосом:

– Чего вы хотите от меня, разбойники при-

дорожные? Я в чужой земле, без защиты.

– Так и есть, что наш! Но что он тут делает?.. Рыб, что ли, скликает?.. Видно, знает, как их звать по именам.

Тут таинственный незнакомец обернулся и глаза его дикой злобой сверкнули из-под черных нависших бровей.

Дружинники отступили в изумлении.

На камне, вросшем наполовину в землю и покрытом диким мхом, под огромным вязом, от которого отлетали последние поблекшие листья, сидел смуглый широкоплечий мужчина с нахлобученной на самые глаза черной шапкой и раскачивался в разные стороны. Его стекловидные, зеленоватые глаза угрюмо следили за катавшимися у ног его волнами, озаренными последними лучами заходящего солнца. Одна тень сторбленная, длинная, далеко откинувшаяся на берег, могла спугнуть дерзких любопытных, пожелавших бы рассмотреть мрачную физиономию неизвестного путника, для которой природа, видимо, была злой мачехой.

Неизвестный не мог не слышать шума шагов приближавшейся к нему толпы, но он не

обратил на это никакого внимания и, не оглядываясь и не трогаясь с места, продолжал медленно раскачиваться из стороны в сторону, и при этом движении на его боку раскачивался широкий нож с черенком из рыбьего зуба.

III. Павел-колдун

— Павел! чернокнижник! злой кудесник! Колдун!.. Как он здесь очутился? Видно, лесовик довез его на хребте своем!.. Пришибем его, братцы, – избавим землю от лихого зелья! – закричали почти в один голос дружинники.

– Земляки мои, братья! Нет, не чуждайтесь меня! – воскликнул Павел, прикинувшись радостно изумленным. – Теперь я не тот нелюдим, встретив которого вы бежали прежде, я смиренный, кающийся грешник. За вас, мои братья, жизнь моя, молитва и руки.

– Врет, прикидывается... Погодите, еще не то заговорит, а дьявол, который в него вселился, ишь как корежится! Перехватить ему горло, да и в воду. Пусть его оттуда освобождают нечистые его собратья, а мы свое дело

сделаем, благо есть случай.

– Нет, лучше привяжем его к камню, да свалим в волны, а то нож так заржавеет в крови его, что не ототрешь никакими заговорами. Страшно будет опоясаться им, как зельем.

Так рассуждали обступившие Павла дружинники.

Дико блеснул он глазами, крепко стиснул кулаки и судорожно вытянул перед собой руки, как бы защищаясь.

Дружинники между тем еще более приблизились к нему и некоторые уже схватили его и стали тормозить.

– По крайней мере, дайте мне проститься со светом Божьим! – заговорил он упавшим голосом.

– Уж ты давно отклепался от человеческого имени, и давно пора тебе туда, восвояси; там за тебя давно уже и паек получают! – отвечали ему.

– Дайте мне хоть повидаться с Чурчилой. Ведь вы, чай, с ним?

– Что за свидание! Ты уязвил его, как змея горыныч!.. Мы давно добирались до тебя; а те-

перь, знать, тебя черти выдали, что наткнули на нас. В Новгороде отец твой силен, оборонит кого захочет, а здесь мы тебя, – заговорил один дружинник и, схватив левой рукой Павла за бороду, правой занес над ним руку с ножом.

Павел весь съежился и зажмурился, чтобы не видеть опускавшегося над ним блестящего лезвия, и даже преждевременно дико воскликнул.

– Да пусть его взглянет последний раз на Чурчилу... Пожалуй, осерчает, что не допустили до него Настасьина брата, хоть любит он его, как собака палку, – сказал другой дружинник, останавливая опускающуюся было над головой Павла руку товарища.

– Ну, так и быть, сволокем его к нему, да свяжите покрепче ему руки и ноги, а то ведь он хитер, проклятый, вывернется, – решили остальные дружинники.

Корчившегося от бессильной злобы Павла дружинники крепко-накрепко связали по рукам и ногам и, окружив, потащили его за веревку, подгоняя сзади палками по чем ни попало.

– Что это, еще пленника, или зверя какого тащат наши? – сказал Дмитрий Чурчила, указывая на приближающуюся к ним толпу.

– Чурчила, это я, злейший враг твой! Упейся теперь моей кровью, я в твоей власти, – заговорил смело прерывающимся от ярости голосом поставленный на ноги Павел.

– Как? Павел? Лучше бы взглянул я на ехидну, чем на этого дьявола в человеческом образе! – вскрикнул Чурчила, и так ударил рукой по рукоятке своего меча, что все вооружение его зазвенело.

– Упросил, чтобы тебе его показали, – слышались голоса дружинников.

– Он знает, чем хуже наказать меня... Чего тебе нужно от меня? – обратился он к Павлу.

– Жизни твоей...

– А что тебе в ней и за что ты ненавидишь меня, подкупной, заспинный враг?

– Верно слово твое, я – подкупной, но меня подкупила братская любовь, – с ударением отвечал Павел.

Чурчила вздрогнул.

– Ты спрашиваешь, за что я ненавижу тебя? Но кого же любил я? Я – исчадие зла, все

люди были мне противны, сам не знаю почему... Но сестра моя, эта кроткая овечка, Настасья... она давно примирила меня со всеми; она как бы нечеловеческим голосом уговаривала меня переродиться, и слова ее глубоко запали в мою черную душу. Она показалась мне ангелом, а голос ее песней серафима, и я... повиновался...

Павел зарыдал.

Чурчила зашатался и прислонился к плечу поддерживавшего его Дмитрия.

Немного погодя он спросил.

– Не этот ли ангел Божий вразумил тебя покушаться на мою жизнь?

– Погоди и дослушай, после обвиняй, – начал снова Павел. – Я повиновался ей... нет, не ей, я не знаю, кто говорил ее устами. Душа моя созналась во всех поступках. Священное родство, любовь, все чувства человека разлились в душе моей, и новый свет озарил ее, я умилялся и искренно назвал братом любимого ей Чурчилу.

– Как, разве у вас шла речь обо мне?

– Никогда не переставали мы о тебе беседовать...

– Все более и более непонятны, темные слова твои.

– Мудрено ли! Душа каждого – загадка, а у этого она – совсем потемки. Пожалуй, заслушаешься его, то и несдобровать тебе. Ему надо язык выгладить полосой раскаленного железа, а на руки и на ноги надеть обручи, или принять его в дреколья!.. До каких пор ждать конца его сказки? – с сердцем воскликнул Дмитрий.

Павел скосил на него и без того косые глаза свои и сказал с упреком:

– Обшаривай душу темную, а светлая вся на виду.

– Что тут толковать, вы из одного гнезда с нечистым, одного поля ягода.

– Да не одинаковая, – возразил Павел. – Кем я был прежде – признаюсь. А теперь, ты сам, как злой враг человеческий, перетолковываешь смысл моих слов, и отказываешь мне, грешному, в возможности раскаяния, в освобождении от тяжелого гнета души моей.

– Экий краснобай! Как гладко он выстилает словами дорогу к сердцу всякого, – прервал его Дмитрий.

– Постой, Дмитрий, твоя речь впереди, дай нам дослушать, а ему договорить, – сказал Чурчила.

– Пораспустите хотя немного мои руки, веревки больно стянули их; я честно исповедуюсь перед вами и тогда легко приму смерть, тогда и оковы телесные легки будут для меня, а если приму смерть, не буду влачить их. Господи, помилуй, поддержи меня!..

– Не богохульствуй, собака, я тебе засмолю рот, – снова не утерпел Дмитрий, и бросился на него с мечом, но Чурчила остановил его.

Павел с сожалением посмотрел на Дмитрия и с тяжелым вздохом начал:

– Настасья любила тебя меньше Бога, но больше жизни. Ты покинул ее, несчастную, и обливается теперь она день и ночь горячими слезами, и сохнет, как былинка в знойный день. Это зажгло ретивое мое праведным гневом против тебя. «Сыщи его, – сказала она мне, – добудь, достань мне или перенеси меня к нему. Я забуду стыд девичий, упаду на грудь его, обовью его моими руками и мы умрем вместе». На эту беду присватался к ней какой-то именитый литвин. Отец обрадовался

этому и приказал ей принимать подарки и называться его суженой... Где же было чувство твое к ней, когда ты покинул ее?

Чурчила дрожал, изменившись в лице, и не мог выговорить слова.

– Теперь, быть может, влекут ее к венцу с немилым женихом или заколачивают останки ее в гроб тесовый. Я как будто слышу стук молотка, и холодная дрожь пробирает меня.

Он замолк и пристально поглядел на Чурчилу.

Последний стоял как приговоренный к смерти. Лицо его исказило от внутренней невыносимой боли!

Павел продолжал:

– Потому-то я и ринулся всюду отыскивать тебя, чтобы заставить вспомнить о покинутой тобой... Не утаю, я решился закатить тебе нож в самое сердце и этим отомстить за ангела-сестру, но теперь я в твоих руках, и пусть умру смертью мученической, но за меня и за нее, верь, брат Чурчила, накажет тебя Бог...

– Истину ли изрыгаешь ты? – грозно спросил его Чурчила.

– Соболезную о слепоте твоей. Что же ты

медлишь... Дорезывай скорей кстати брата, а там присоединись к вольным шайкам московских бродяг и грабь с ними отчизну. Вместо того чтобы защищать, ты отрекся от нее и рыскаешь далеко...

– Нет, ты брат Настасьи! Ты – мой брат! Я освобождаю тебя!

Послышался ропот дружинников, но Чурчила обнажил меч свой и крикнул:

– Чего вам надо? Крови? Вяжите меня, режьте, если поднимется рука.

С этими словами он разрубил веревки на руках и ногах Павла.

IV. Бегство

Яркие звезды засверкали на темном своде небесном, луна, изредка выплывая из-за облаков, уныло глядела на пустыню – северная ночь вступила в свои права и окутала густым мраком окрестности. Около спавшей крепким сном, вповалку, после общей попойки, по случаю примирения Павла с Чурчилой, дружины чуть виднелась движущаяся фигура сторожевого воина.

В глубокую полночь, когда и сторожевой склонил свою усталую голову на копьё, что-то тихо зашевелилось в середине спавших, чья-то голова начала медленно подниматься, дико озираясь кругом, сияясь прорезать взглядом окружающий мрак.

Подле этой поднявшейся головы поворачивался пленник, рейтар ливонский, лежавший навзничь и силившийся вытащить руки из веревочных пут.

– Ты что, схвачен? – шепнул, приподнявшись, Павел (это был он) пленнику.

Тот молчал.

– А, ты боишься меня, а я еще хотел по-

мочь тебе. Не веришь, смотри, – продолжал он, и перерезал двуострым ножом своим веревки, скручивавшие ноги пленника.

– Спаси меня, – тоже шепотом заговорил пленник. – Я герольд бывшего гроссмейстера ливонского ордена Иоганна Вальдгуса фон Ферзена, владельца замка Гельмст. Он послал меня ко всем соседям с письмами, приглашающими на войну против...

Герольд остановился.

– Ну, договаривай смелей, на Русь, что ли, нашу? Я вам помощник.

– Ты!.. Да кто ты? Ведь ты русский? Как же?

– Не твое дело. Беги, скажи...

Он хотел было совершенно освободить его, перерезав веревки и на его руках, но вдруг остановился и спросил:

– А далеко ли Гельмст?

– Перейдя поле и лес, поворачи налево и поезжай наискосок по дорожке; к утру будешь в замке.

Павел разрезал веревки на руках пленника.

– Ступай, но коня уж оставь волкам на закуску, а то к копытам мои земляки чутки, как

медведи к меду; услышат и захватят опять. Выберись отсюда лучше на змеиных ногах, то есть ползком; расскажи своим, что русские наступают на них, поведи их проселками на наших и кроши их вдребезги! Ступай, а мне еще надо докончить свое дело.

Пленник вскочил на ноги, затем пригнулся к земле и начал медленно, озираясь, пробираться между сонными дружинниками, спавшими богатырским сном.

Чурчила, утомленный походом и взволнованный встречей с Павлом и в особенности словами последнего, лежал в каком-то тяжелом полусонном забытьи и молодецкая грудь его тяжело вздымалась под гнетом удручающих сновидений. Он хотел тотчас лететь обратно на родину, чтобы избавить свою Настю от когтей иноплеменного суженого, или лечь вместе с ней под земляную крышу, его насилу уговорили дожждаться зари, и теперь сонным мечтам его рисовалось: то она в брачном венце, томная, бледная, об руку с немилым, на лице ее читал он, что жизни в ней осталось лишь на несколько вздохов, то видел он ее лежащую в гробу, со сложенными крест-на-

крест руками, окутанную в белый саван. Он не узнавал ее; орбиты высохших от слез глаз впадали так глубоко, страшно; розовые ногти на руках и малиновые уста ее посинели. Холодный пот обливал его снаружи, внутри же он чувствовал жгучую боль и то стонал, то яростно скрежетал зубами и вскакивал в просянках.

Павел крался, подползая к Чурчиле как червь; нож его блеснул во мраке, взвился с рукою над головой жениха его сестры и уже готов был опуститься прямо над горлом несчастного, как вдруг Чурчила, под влиянием тяжелых сновидений, приподнялся и попал бы прямо на нож, если бы убийца не испугался и угрожающая рука его не замерла на полувзмахе.

– Измена, – крикнул сторожевой, услышав шорох вскочившего в страхе Павла, и ударил мечом своим плащмя несколько раз по ножнам.

Дружинники, услышав эти звуки, все проснулись и в одно мгновение были на ногах, хотя в первые минуты не могли понять причины тревоги.

Сторожевой дружинник в нескольких словах рассказал, как он заметил Павла, бежавшего с ножом от Чурчилы.

Фигура беглеца, благодаря вышедшей из облаков луне, действительно, видна была мелькающей по полю.

За ним стремглав бросилась погоня.

Павел, перебежав большое пространство, свернул в прибрежные кусты и засел в них.

Ожесточенные дружинники начали шарить в них, ударяя по ним мечами, и жертва, наверное, не ускользнула бы от них, если бы Павел, видя явную опасность, не принял бы мер.

Безвыходное положение, страх всегда или рождают внезапно счастливую мысль, или же сковывают человека бездействием.

То же случилось и с Павлом.

Нащупав около себя огромный камень, он скатил его с шумом в реку, а сам притаился ничком в кустах. Вслед за камнем, который дружинники приняли за бросившегося в реку Павла, посыпались стрелы, но прошло несколько мгновений – волны катились с прежним однообразным гулом, и дружинни-

ки, думая, что Павел с отчаяния и срама, чтобы не попасться в их руки, бросился в реку и утонул, подождали некоторое время, чутко прислушиваясь, и возвратились к товарищам, решив в один голос: «Собаке – собачья смерть!»

Чурчила, убедившись, что поддался хитрому обманщику, решил не возвращаться на родину, а продолжать поход к намеченной ранее дружинниками цели – замку Гельмст.

Под покровом ночи и Павел ползком, после ухода своих преследователей, выбравшись из прибрежных кустов, осторожно прокрался к лесу, по дороге, указанной ему рейтаром Вальдгуса фон Ферзена.

Он решил тоже направиться в замок Гельмст.

Зачем? – это была тайна его черной души.

V. Замок Гельмст

Замок Гельмст – цель дальнейшей ратной потехи наших новгородских дружинников, принадлежавший, как мы уже знаем, рыцарю Иоганну Вальдгусу фон Ферзену и сохранившийся до нашего времени, находится в Лифляндии, у истока реки Торваста, в миле расстояния от Каркильского озера, в котором, по преданию, находится будто бы несколько затонувших зданий.

В описываемое нами время он представлял собой неприступную твердыню. Широкие стены его, поросшие мхом и плющом, указывали на их незапамятную древность, грозные же в них бойницы и их неприступность, глубина рва, его окружавшего, и огромные дубовые ворота, крепкие, как медь, красноречиво говорили, что он был готов всякую минуту к обороне, необходимой в те беспокойные, опасные времена.

Подъемный мост спускался лишь при звуке трубы подъезжавших путников и снова поднимался, скрипя своими ржавыми цепями, впустив в ворота ожидаемого или

нежданного гостя.

Замок Гельмст славился на всю округу гостеприимством своего хозяина. Столы этого редкого среди немцев хлебосола всегда ломились под обильными и изысканными по тому времени яствами и винами.

Рыцарь Иоганн Вальдгус фон Ферзен был богат, чем не могли похвастаться остальные его товарищи по оружию, рыцари ордена меченосцев. Это богатство сделало то, что он был избран гроссмейстером ордена, но оно же было причиной потери им этого сана – его обвинили в сношениях с русскими и в принятии от них подарков; было ли это результатом зависти или же имело за собой долю правды – осталось в глубине души фон Ферзена – души, впрочем, сильно оскорбленной потерей почетного звания. Фон Ферзен всеми силами старался вернуть его в свой род, и к общей ненависти к русским у этого бывшего гроссмейстера прибавилась ненависть личная.

Он сам в минуты откровенности, после лишнего стакана вина, хотя и не признавал себя виновным в подкупе со стороны русских

варваров, но все же делал кой-какие намеки и не мог удержаться, чтобы не излить на них всю желчь своего развенчанного величия.

– С тех пор, – так обыкновенно он заканчивал свой рассказ о своем падении, – как услышу я слово: «русский», какая-то нервная дрожь охватывает меня. С тех пор поклялся я всем святым вредить этим заклятым врагам моим, чем только могу, и твердо сдержу свое слово.

Эта ненависть к русским не помешала, впрочем, фон Ферзену дать приют в своем замке бездомному сиротке-юноше, едва вышедшему из отрочества, русскому по происхождению, но не помнившему ни рода, ни племени, по имени Григорию, искаженному среди немцев в «Гритлиха».

Приятели не раз упрекали фон Ферзена за его пристрастие к этому «русскому щенку» и советовали переслать его на родину «на стреле», но владелец замка Гельмст настойчиво защищал своего любимца.

– Я так люблю его, – говаривал он, – да он же и выродился из всего русского, проживши столько лет у меня. Вы не знаете цены этому

малому. Я нашел его полу замерзшим и полу-нагим на самой русской границе; ему было тогда лет десять от роду; я заметил его, накормил, взял к себе на седло. Как он прижимался ко мне, сердечный, весь дрожа от холода. Я стал расспрашивать его, откуда он. Из его слов я понял, что он бежал от какого-то бунта, что все его родные были перебиты. Куда же было деваться ему, сироте... Я оставил его у себя... Моя дочь была только годом моложе его... Они вместе выросли, играя между собой как родные, и даже зовут друг друга братом и сестрой. Он плел для нее корзинки из ивовых прутьев, ловил птиц силками, лазал по деревьям как белка, чтобы доставать из гнезда пташек и воспитывать их, как я их воспитывал. Когда же он возмужал, то стал держаться моего стремени – на звериной ловле усмирять диких бегунов и гарцевал на них молодецки. А как он стреляет! Сшибет шапку с головы и волоска не тронет. Но что больше всего меня привязало к нему – это то, что он не корыстолюбив: со своими не воюет, а когда других задевали мы, он не пользовался грабежом; а однажды вышиб из седла врага,

который уже занес меч над моей головой... Я ему обязан жизнью... да и Эмма моя любит его, как родного брата... Я не могу расстаться с ним.

– Это-то и худо, – пробовали задеть старика фон Ферзен с этой стороны, – долго ли до победы, надо вовремя разлучить молодых людей.

– Нет, – возразил он, – моя Эмма – эта юная ветвь славного и могущественного рода Ферзен – никогда не соединит свою судьбу с каким-нибудь подкидышем. О! Прежде я изрублю тело его в крупинки.

– Чем дожидаться этого, не лучше ли теперь принять меры и теперь же отослать его в конюшню и на псарню, самое подходящее место для «русского щенка», – не унимались советчики.

– Это было бы слишком жестоко, особенно без вины, но если я что-либо замечу, то лучше выгоню его из своего замка на все четыре стороны, – возразил фон Ферзен.

Эти беседы хотя и не имели грустных последствий для Гритлиха, но все же внесли в душу старика Ферзена подозрение, и он стал

наблюдать за дочерью и приемамшем, но не замечал ничего.

Эмма фон Ферзен и подкидыш Гритлих были еще совершенные дети, несмотря на то, что первой шел девятнадцатый, а второму двадцатый год. Они были совершенно довольны той нежностью чистой дружбы, которая связала их сердца с раннего детства; сердца их бились ровно и спокойно и на поверхности кристального моря их чистых душ не появлялось даже ни малейшей зыби, этой предвестницы возможной бури.

Среди сокровищ ее отца Эмма фон Ферзен была самым драгоценным сокровищем, не только в глазах отца, но даже и для постороннего взгляда.

Стройная, гибкая блондинка, с той врожденной грацией движений, не поддающейся искусству, которая составляет удел далеко не многих представительниц прекрасного пола, с большими голубыми, глубокими, как лазуревое небо, глазами, блестящими как капли утренней росы, с правильными чертами миловидного личика, дышащими той детской наивностью, которая составляет лучшее

украшение девушки-ребенка, она была кумиром своего отца и заставляет сильно биться сердца близких к ее отцу рыцарей, молодых и старых.

Друг ее детства, Григорий, или Гритлих, с годами из тщедушного мальчика обратился в стройного юношу, полного сил и здоровья, добытого физическими упражнениями и суровой жизнью среди суровых рыцарей. С самых юных нежных лет на охотах, этих прообразах войны, привык он смело глядеть в глаза опасностям, а с течением времени – пренебрегать ими. Высокий ростом, с задумчивым, красивым, полным энергии лицом, матовая белизна которого оттенялась девственным пухом маленьких усиков, с темно-русыми волосами и карими глазами, порой блиставшими каким-то стальным блеском, доказывавшим, что в этом молодом теле имеется твердый характер мужа.

Таков был молодой новгородец, волею судеб нашедший себе второе отечество в Ливонии и вторую семью в лице старика фон Ферзена и его дочери.

Чтобы закончить описание обитателей

замка Гельмст, нам необходимо нарисовать, хотя бы в нескольких штрихах, портрет самого владельца замка, рыцаря Иоганна Вальдгуса фон Ферзена. Это был высокий, худой старик, лет за шестьдесят, с открытым добродушным лицом, совершенно не гармонизировавшим с несколькими рубцами рассеченных ран, говорившими о военном ремесле рыцаря. Посвятив свою раннюю юность подвигам на пользу ордена меченосцев, он поздно встретил подругу жизни и не долго пользовался ее ласками. Молодая, хрупкая, Матильда фон Эйхшедт, ставшая Матильдой фон Ферзен, прожила с мужем год с небольшим и умерла при родах, подарив ему дочку – живой портрет матери. Пораженный неожиданным горем, Иоганн фон Ферзен перенес всю нежность своего поздно проснувшегося сердца на этого ребенка и от трудов войны отдыхал сперва около ее колыбели, а затем около ее девичьей постельки, благословляя ее на сон грядущий, сон чистоты и невинности. Ее детский лепет, ее улыбка, ее игры, забавы и даже шалости, были тем живительным бальзамом, который привязывал к жизни старого рыцаря.

ря, давал этой жизни цель и значение, но, вместе с тем, не допускал жестокому ремеслу сделать его кровожадным и бессердечным, подобно многим из его сотоварищей.

И не на одного отца своего производила Эмма фон Ферзен такое чарующее впечатление; вся прислуга замка, все рейтары ее отца боготворили ее, их угрюмые суровые лица расплывались при встрече с ней в довольную улыбку, ее ласковый взгляд был для всех их дороже неприятельской богатой добычи. Казалось, сами поросшие мхом каменные громады замковых стен становились менее мрачными, когда Эмма фон Ферзен проходила мимо них. Был только один человек среди служителей замка, который не только не улыбался при встрече с общим кумиром, Эммой, но, видимо, избегал подобной встречи. Это был старый привратник Гримм. На него эта златокудрая ангелоподобная девушка производила действие проснувшейся совести.

VI. Весть о русских

Скорее деньги Иоганна фон Ферзена, чем еще только расцветшая красота его дочери Эммы за несколько лет до того времени, к которому относится наш рассказ, сильно затронули сердце соседа и приятеля ее отца, рыцаря Эдуарда фон Доннершварца, владельца замка Вальден, человека хотя и молодого еще, но с отталкивающими чертами опухшего от пьянства лица и торчащими в разные стороны рыжими щетинистыми усами. Только общее пристрастие к флягам, в содержимом которых и сам фон Ферзен любил подчас топить скуку своего одиночества, да искусная игра Доннершварца на пикентафле[56] могли объяснить близость между этими двумя рыцарями, нравственные качества которых были более чем противоположны.

– Я привык к нему, как к моему колпаку, да, кроме того, он мне полезен, как мой кот; тот очищает мой погреб от крыс и мышей, а этот – от бутылок и бочонков; за это я люблю его.

Старик не стеснялся выразить это свое

мнение и в присутствии своего частого гостя, но тот, ввиду намеченной им цели, да и по врожденной трусости, пропускал все мимо ушей и не обижался.

Он и сам не рассчитывал получить согласие отца на брак, а потому принял свои меры на случай, если придется похитить обладательницу богатого приданого.

Последнее для него было очень важно – Доннершварц был беден.

Чтобы иметь среди прислуги фон Ферзена своего человека, он пристроил одного из своих рейтаров, Гримма, в привратники в замок, обещав ему хорошую награду, если при его содействии брак его с Эммой фон Ферзен состоится, будь это с согласия отца, или насильственным похищением.

Привратник Гримм на своей особе всецело оправдывал французскую пословицу: «Каков господин, таков и слуга», – он был кривой старик, с плутоватой физиономией, большим, почти беззубым ртом и вечно злым и угрюмым видом; красный нос его красноречиво свидетельствовал, что он не менее своего господина был поклонником бога Бахуса. Он со-

стоял на службе еще у отца Эдуарда, но далеко не жаловал сына – этого пьяницу и обжору, как, конечно, за глаза, он честил бывшего своего господина, а потому с удовольствием перешел на службу в замок Гельмст, где все дышало довольством и богатством, тогда как в замке Вальден приходилось часто класть зубы на полку вместе со своим господином, с той разницей, что последний раньше уже пристроился к хлебосолу фон Ферзен.

Обещанная богатая награда тоже соблазняла старика Гримма, но за последнее время на него начало находить сомнение, так как он все еще не получил задатка, который посулил ему Доннершварц.

– И вправду, что же ждать от разбойника? – ворчал Гримм про себя в минуту раздумья. – Что награбит, тем и богат, а ведь часто волк платится и своей шкурой. Разве – женьитьба? Да где ему! Роберт Бернгард посмышленее, да и по молодцеватей его, да и у него что-то не вдруг ладится... А за моего она ни за что не пойдет, даром что кротка, как овечка, а силком тащить ее из замка прямо в когти к коршуну – у меня, кажись, и руки не подни-

мутся на такое дело... Дьявол попутал меня
взяться за него...

Этим и объяснялось смущение Гримма при случайных встречах с молодой девушкой, в которой он видел обреченную жертву его гнусных интересов, гнусных до того, что он мысленно отрещивался от них, подавляя в себе даже порой соблазн корысти.

Роберт Бернгард, о котором упоминал в своих рассуждениях Гримм, был более открытый претендент на руку Эммы фон Ферзен. Красивый молодой человек, отважный, храбрый, с честной, откровенной душой, он был любимцем Иоганна фон Ферзена, и старик часто задумывался о возможности породниться с ним, отдав ему свое сокровище – Эмму.

«Но она еще ребенок... о чем это я думаю», – ревниво отгонял он от себя все же тяжелую для него мысль о разлуке с любимой дочерью.

Таковы были взаимные отношения обитателей замка Гельмст с их близкими соседями в то время, когда до этой твердыни дошел слух о появлении неподалеку русских дружинников.

Мы застаем Иоганна фон Ферзен и Эдуарда фон Доннершварца в длинной готической, со сводами, столовой замка за обильным завтраком, которому они оба сделали достойную честь.

– Стремянный мой Вольфганг, – говорил фон Ферзен, – прослышав, что где-то недалеко бродит шайка русских, но небольшая... Давненько их не было видно у нас...

– Ничего, мы затравим их собаками и застегаем плетьюми, – хвастливо воскликнул фон-Доннершварц.

– Это несомненно, – подтвердил хозяин, – но мне пришло на мысль не только пугнуть пришельцев, но и самим прогуляться в Пермь, или в Псков, или хоть под самый Новгород... Там будет чем поживиться... Есть слух, что он опять бунтует... Это будет кстати, там все заняты, чай, своим делом, обороняться будет некому. Не правда ли?..

Гость утвердительно кивнул головой.

– На все необходимы не только отвага, но и ум... Об этом-то я и хотел посоветоваться с тобой и еще кое с кем и послал герольдов собрать на совет всех соседей... Один из моих

рейтаров попался в лапы русских и лишь хитростью спасся и пришел ползком в замок... Он говорит, что они уже близко... Надо нам тоже подготовиться к встрече. Полно нам травить, пора палить! А? Какова моя мысль! Даром, что в старом парнике созрела.

– Черт возьми, превосходная... У меня так и запрыгало сердце от радости, что наконец придется потешить копыя, – воскликнул фон Доннершварц.

– А зубы не защелкали от страха? – усмеялся фон Ферзен.

Гость сделал вид, что не слышал этого замечания, и продолжал:

– И мне пришла в голову мысль...

– Какая?.. Взять с собой ящик вина?

– Нет, а вот что это, верно, ваш Гритлих снюхался с бродягами русскими и подманил их... Примите-ка скорей меры, велите сейчас позвать его, я из него все выпытаю, да прикажите осмотреть замок и подготовиться к обороне.

Эдуард фон Доннершварц в глубине души ненавидел Гритлиха и всеми силами старался восстановить против него фон Ферзена.

– Нет, братец, не теперь! Гритлих еще теперь на охоте. Да и что тебе дался этот Гритлих? Даже хмель спадает с тебя, как только ты заговоришь о нем. Я давно замечаю, что ты ненавидишь сироту, и, конечно, особенно с тех пор, как он перебил у тебя славу на охоте. Помнишь белого медведя, от которого ты хотел уйти ползком!

Доннершварц вспыхнул. Этой историей его дразнили уже давно.

– Сами вы белый медведь! – крикнул он вскочив со скамьи. – На другого бы я пожаловался своему мечу, который сорвал бы его седую голову, но на вас... смотрите, я не всегда терпелив.

Фон Ферзен захохотал.

– А что, видно, за живое задело, господин рыцарь белого медведя... Ты, верно, и от него хотел уйти, чтобы пожаловаться своему мечу, так как вместо него у тебя на боку торчала колбаса, а через плечо висела фляга. Я, признаюсь, сам этого не видел, но мне рассказывал Бернгард...

– Бернгард!.. Вот еще кого вы выбрали в свидетели!.. Он не лучше вашего Гритлиха...

Если он осмелится это сказать при мне, я тотчас же брошу ему вызывную перчатку... несмотря на то, что ваша Эммхен умильно поглядывает на него...

– Смотри, Эдуард, бросишь и не разделаешься; Роберт сам горяч...

– Хоть бы он был горячее огня... Шутки в сторону, зачем вы принимаете еще этого шелкового рыцаря, у которого все достояние снаружи, а в кармане засуха?

– Да ведь и твой карман не жирен, не хватйся, брат. Карман Бернгарда еще тем превосходит твой, что отворен настежь для всех. Но чего же ты нахохлился, что тебе не по нраву? Полно, Доннершварц, я знаю, что ты любишь меня и ревнуешь старика ко всем. Не бойся, я умею это ценить. Вот тебе моя рука, я хоть и люблю Роберта, этого благородного рыцаря, но будь уверен, что и ты мне также дорог...

Доннершварц почтительно схватил руку фон Ферзена и патетически произнес:

– Вы увидите при первом случае, когда вам понадобится моя рука, кто из ваших приверженцев более всех вам принесет пользы. До-

вольно говорить, время докажет.

– Поговорим-ка лучше о русских, – снова перебил его фон Ферзен. – Как ловко они подкараулили моего рейтара. С каким наслаждением я сделал бы из них бифштекс... Да, – продолжал он задумчиво, – их рысьи глаза никого не просмотрят, теперь того и гляди наскочут они на мой замок.

– Не бойтесь, Ферзен, к нему пойдет дорога только через мой труп, но необходимо поговорить о деле.

– Да этим и кончить? Только говорить о деле – теперь мало. Я послал отряд своих рейтаров собирать вассалов и приглашать соседей. Кто меня любит, тот, верно, придет первый.

– Это я – всегда с вами и за вами, как тень ваша... Но все же я возвращусь к Гритлиху. Его необходимо выслать из замка или же вы будете дожидаться, чтобы за нами пришли его земляки с дубинами и кистенями?

– Хорошо, хорошо... Скажи ему, когда он вернется, за меня, что знаешь, и дай ему денег на дорогу из моего...

– Я ему не дам старого гвоздя из подковы лошади... Ему за вас подарит охотно фрей-

лейн Эмма дорогое кольцо, да пожалуй и с пальчиком... О, черт возьми, не могу думать, что золото и ржавчину вы держите вместе.

– Ну, цыц, опять за свое! – прикрикнул на него сердито фон Ферзен.

Доннершварц замолк.

Послышался шорох легкой походки, и юная Эмма резво впорхнула в комнату. При ее появлении лицо ее отца прояснилось, брови раздвинулись и глаза засияли добрым блеском. Так солнце, вспыхнув на небе, озаряет своим блеском черную пучину и ярко раззолачивает ее своими лучами.

VII. Два соперника

— Эммхен, моя милая Эммхен! – воскликнул радостно старик фон Ферзен. – Наконец-то ты навестила отца!

Он открыл ей свои широкие объятия и обнял своими могучими руками ее гибкий стан.

– Здравствуйте, папахен! – нежно сказала Эмма и сделала книксен Доннершварцу, глядевшему на нее плотоядным взглядом и расшаркавшемуся перед ней, неистово гремя шпорами.

– Посмотрите, папахен, – радостно продолжала она, садясь к нему на колени и показывая маленький костяной лук с серебряной стрелой, – это подарил мне мой братец – Гритлих, чтобы стрелять птичек, которые оклевают мою любимую вишню. Он учил меня, как действовать им, но мне жаль убивать их. Они так мило щебечут и трепещут крылышками и у них такие маленькие носики, что едва ли они могут много склевать... Пусть их тешатся, и им ведь хочется есть, бедняжкам...

– О, моя прелесть, – заметил отец, любуясь дочерью и трепля ее по розовой щечке.

– Да что это, милый папахен, нас совсем забыл молодой Бернгард? Он обещал мне привезти бусы.

Фон Ферзен обернулся к Доннершварцу, с открытым ртом не отрываясь смотревшему на молодую девушку и насупившемуся при имени Бернгарда.

– Ты что замолк? Куда девалась твоя храбрость? Или струсил девочки? Глядит на нее, как собака на дичь?

Старик раскатисто захохотал.

Доннершварц очнулся от немого созерцания.

– А я хочу подарить фрейлейн Эмме ожерелье из львиных зубов – большая редкость в нашей стороне. А стрел таких и луков я не имею. Есть у меня лук...

Он не успел кончить своей речи, как на дворе послышался конский топот.

Фон Ферзен ссадил Эмму с коленей и скорыми шагами подошел к окну.

– Мелькнуло чье-то белое перо, – сказал он. – Но что это значит? Ни трубач, ни кто другой не дает знать о прибывшем. Верно, кто-нибудь из наших.

– Белое перо? Ах, папахен, это мой любимый цвет! Верно, это...

Ее голубые глазки заискрились, как незабудки.

Статный рыцарь, с длинными белыми перьями на шлеме, в щегольском того времени вооружении, быстро вошел в комнату и не дал договорить Эмме свое имя.

Его гладко отполированные латы сверкали под шелковой белой перевязью, охватывающей его стан, лосиные до локтей с раструбами перчатки и коротенький меч в хитрочеканенных и позолоченных ножнах придавали ему вид щеголя.

Он почтительно раскланялся с фон Ферзенном и приветливо с фон Доннершварцем и, видимо, с особенным чувством с Эммой, затем поднял забрало своего шлема, ловко снял его, и черные кудри рассыпались по его плечам.

– Узнали, узнали! Роберт! А мы тебя ожидали и недавно еще говорили о тебе, – сказал фон Ферзен, протягивая ему руку.

– Мне остается только благодарить вас.

– И я говорила о вас, Роберт, – вставила

свое слово молодая девушка. – Я удивлялась, что вы совсем забыли нас. Неужели вам приятнее гоняться по лесами за страшными дикими зверями?

– Чем за девчонками, – захохотал фон Ферзен и сильно закашлялся. – Накажи его, Эммхен, за эту забывчивость в пример другим.

– О, сейчас! – воскликнула она, выпорхнула из комнаты и через минуту возвратилась, держа в руках белую ленту.

– Вашу руку, Роберт! – с напускной серьезностью, но с ангельской улыбкой, сказала она.

– Хоть жизнь, – отвечал рыцарь, протягивая ей руку, – но, помните, что только одна ваша безопасность, которую я оберегаю как свою честь, вынудила меня – не забыть вас, о, нет, а лишь не видеть несколько дней, и этим я сам жестоко наказал себя, так что наказание ваше, какое бы ни было, будет для меня наградой.

– Хорошо, хорошо, что там ни говорите, как ни извиняйтесь, а я свое дело сделаю, – продолжала Эмма, привязывая его за руку к своему столу.

– Bravo, bravo, Эммхен! Да покрепче, несмотря на то, что он так кудряво рассыпается. Нет, господа рыцари, вам уже нынче девушки не верят ни на золотник.

Эмма с неподдельным старанием крепко привязывала своего пленника, смотревшего на нее глазами, полными любви и восторга.

– Лентой, фрейлейн Эмма, а как привязали вы меня к себе. Теперь прошу у вас одной милости за раскаяние – не отвязывайте меня.

– И стерегите сами неотступно своего пленника... Не так ли? – спросил со смехом фон Ферзен. – О, я знаю, – продолжал он, – пленник тогда не только не уйдет, но и не тронется с места, как пригвожденный.

Фон Доннершварц, ревнивым взглядом созерцал всю эту сцену, наконец, не вытерпел:

– Нет, черт возьми! Вы все не правы. Ну, что это за наказание? Оно придает ему лишь желание еще раз провиниться, а по-моему – отослать его к конюху и познакомить его с кнутом, а потом посмотреть: будет ли он таким приверженцем вашего дома, как говорит. Поверьте, это лучшая проба.

Выпалив эту тираду, Доннершварц глупо и

самодовольно улыбнулся.

Бернгард вспыхнул, но, подавив гнев свой, с презрением взглянул на него.

– Кнут конюха пришелся бы как раз по вашей широкой спине, рыцарь! Вы, вероятно, метили в себя и лишь ошибкой попали в другого.

– Я никогда не промахиваюсь и называюсь рыцарем гораздо прежде, чем вы, а потому, кто в этом сомневается, я могу доказать на деле.

– На бойне молотом, а не в кругу благородных рыцарей.

– Черт возьми, смотри, чтобы меч мой не вырвал с корнем дерзкий язык твой...

– Прежде я заклею тебе на лбу или на крючковатом носу твоим именем подлеца и разбойника, чтобы рука искренних рыцарей не осквернилась твоей кровью...

Доннершварц задрожал от злобы и бросил железную вызывную перчатку к ногам Роберта.

Эмма задрожала от страха и побледнела.

– Вы перешли границы, – вступился фон Ферзен. – Хотя я и сам люблю, кто меняет

жизнь на честь, но властью хозяина попрошу вас теперь прекратить эту сцену... Видит Бог, это в наше время не бывало...

– Хорошо, я еще увижусь с ним и мы расквитаемся! – проворчал Доннершварц, сверкая глазами.

– Простите меня, фон Ферзен, и вы, фрейлейн Эмма, – начал Бернгард. – Я так разгорячился, но, поверьте, драться бы не стал, иначе я рискнул бы получить вызов от всех благородных рыцарей за унижение нашего ордена – ломать копья с каким-нибудь мясником! Если он хочет, мой оруженосец накажет его вместо меня.

– Разведите нас... я не оглох, чтобы... чтобы, – повторил Доннершварц и вдруг громко чихнул и замолк.

Эмма, между тем, по знаку отца, освободила Бернгарда и, все еще не оправившись от испуга, печально отошла к окну.

Роберт был смущен: любовь, ненависть, презрение попеременно волновали его душу. Он молча стал ходить по комнате, как бы собираясь с мыслями. Фон Доннершварц исподлобья поглядывал то на него, то на Эмму.

Ферзен что-то чертил мелом по столу.

Наступило общее молчание.

Его прервал хозяин.

– Что, любезный Роберт, нет ли чего нового?.. Знаешь ли ты цель моего вызова рыцарей?

– Я узнал ее от вашего герольда... и поспешил.

– Благодарю... Да, русским духом запахло... Знать, у меня, старика, злейшие и искреннейшие враги мои хотят вырвать последнюю искру жизни.

– Зачем печальные мысли? Мы защита вашему замку, только послушайте любви нашей, остерегайтесь... Расставьте всех рейтаров в окружных лесах и на дорогах и приготовьте отпор. Мои вассалы теперь уже галопом несутся сюда.

– Черт возьми, – прервал его Доннершварц, – не дожидаться ли нам, пока замок займут толпы бродяг. Кто боится измять свои латы и истоптать серебряные подковы у лошади, того мы защитим встречей нашей с незваными гостями, но добычей не поделимся с ним. Так мы условились с фон Ферзеном

и, черт возьми, кто помышляет нам своими ребяческими советами исполнить прямое рыцарское дело!

– Где тебе думать о прямизне, когда ты все качаешься! Не на словах показывают себя, господин бутылный рыцарь, а на деле с оружием, а оно у тебя все заржавело, – заметил Бернгард.

Доннершварц только что хотел ответить, как вдруг Эмма, стоявшая у окна, дико вскрикнула.

Все бросились к ней и стали расспрашивать ее о причине испуга.

Эмма не могла ответить, только показывала в окошко.

Все взглянули по этому направлению и увидели статного юношу, которого несла по двору бешеная лошадь. Он сидел прямо и, казалось, спокойно, натянув на руки повод того, как струны, и крепко обхватив бока сильного животного ногами. Несмотря на это, лошадь, закусив удила, то расстилалась под ним на бегу, то вдруг останавливалась или сворачивала в сторону, или вихрем взвивалась на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника.

Но последний был как будто бы слит с ней из одного вещества и, взмахивая сильной рукой, поминутно стегал ее по голове нагайкой.

– Это мой Гритлих объезжает дикую лошадь, которую мне прислали недавно из Нотебурга[57]. Четыре сильных конюха насилу довели ее, а он один управляется с нею. Bravo!.. Bravo...

Фон Ферзен глядел в окно и хлопал в ладоши.

– Черт возьми! Удадь же управляться с лошадьми, – проворчал Доннершварц.

– Молодец, точно привинчен к седлу, – с неподдельным восторгом воскликнул Бернгард. – Точно, рыцарь! Он достоин им быть.

Он впился глазами во всадника и следил за каждым его движением.

Эмма, между тем, схватила за руки отца своего и еще громче вскрикнула, когда лошадь, вытянув шею, взвилась на дыбы и чуть не опрокинулась назад вместе с всадником.

Молодая девушка, видимо, не могла выносить далее этого зрелища и, быстро отскочив от окна, стремглав бросилась из комнаты.

Мужчины в недоумении переглянулись

между собой.

VIII. Гритлих

Гритлих, между тем, оправясь от стремительного прыжка лошади, закричал Гримму, чтобы он отпер поскорей задние ворота, и когда последний боязливо, но с коварной улыбкой исполнил его желание, он собрал все свои силы, направил лошадь прямо в ворота, выскочил в поле и вмиг исчез из виду, как дым, разнесенный порывом ветра.

Доннершварц наклонился к Ферзену.

– Видите ли вы, что Гритлих не ваш пленник, а вашей дочери? Видите ли, что я прав, – чтобы его разнесла лошадь по кускам, – а вы нет, потакая бродягам?

– Да отстань, знаю, вижу... и сегодня все решу! – отвечал вслух фон Ферзен.

Эмма вбежала опять. Ее кудри были беспорядочно разбросаны по бледному лицу.

– Папахен! Она умчала его, – воскликнула она, бросаясь на шею отца, – а кругом замка ров с водой, мост не поднят. Бедный Гритлих!

Она зарыдала.

– Что ты, что ты, резвая моя козочка? Успо-

койся – увещевал ее отец.

Но Эмма только дико взглянула на него, как бы к чему-то прислушиваясь.

В это время загремели перекладыны подъемного моста, она встрепенулась и с силой рванулась из рук отца, несмотря на то, что он так сжал ее руку, что помял на ней золотую браслетку, и выскочила из комнаты.

– Послать за ним, за ней!.. Побежим на подзорную башню взглянуть с нее на удальца, – заговорили присутствующие...

Вошедший герольд остановил их намерение.

– А, Штейн! – воскликнул фон Ферзен. – Ну, что скажешь?

– Русские продвигаются все ближе и ближе, благородный господин. Они теперь находятся только на день езды отсюда. Их провожает дым пожарищ.

– Как, неужели никто из наших соседей не дал им еще достодожного отпора. Где же они рыскают или спят, непробудные винные исчадия? – быстро и гневно спросил Бернгард.

– Я видел их, благородный рыцарь, на перелет стрелы от нашего замка. Они сели зав-

тракать. Их много и они вооружены крепко.

– Что же медлят они? – закричал фон Ферзен, топнув ногой. – Русские жгут земли наши, а они пьют.

– Как и мы! – вставил Доннершварц, глупо ухмыляясь.

Бернгард пожал плечами.

– Нет, видит Бог, этого в наше время не бывало! Вот распоряжения нынешнего гроссмейстера! Вот храбрость нынешних рыцарей! Свидетель Бог, не так было в наше время, – продолжал фон Ферзен.

– Не всех обижайте!.. Мой меч свернет такие головы, – заговорил было Доннершварц.

– Всем бутылкам моим, – отвечал фон Ферзен. – Что же ты ожидаешь и не едешь отыскивать наших шатунов? Или боишься встречи русских и их угощенья?

Доннершварц тупо глядел на него и не находил ответа, а Бернгард заметил оскорбленным тоном:

– Фон Ферзен! Тому порукой ничем не запятнанная честь моя: мы не выдадим вас врагам... Если вы сомневаетесь, да судит вас совесть ваша.

– Да, да, смейтесь... сколько хотите, – заговорил Доннершварц, – пусть я пролью за вас не кровь, а вино, но... но...

Он не сумел договорить.

– Простите меня, – сказал старик, – я по горячности вас обидел...

В комнату снова вбежала Эмма и радостно воскликнула:

– Едет, едет!.. Мой Гритлих цел и невредим... Он справился с лошадей... посмотрите.

Она указала в окно на лошадь, покрытую пеной и возвращающуюся домой с повисшими ушами.

Фон Ферзен прервал свою дочь:

– Вот кстати. Вот кто загладит обиду мою! – заговорил он, указывая на дочь. – Рыцари, дети благородной стали! Вот вам награда. Кто более скосит русских голов с их богатырских плеч, тот наследует титул мой, замки и все владения мои и получит Эмму.

– О, для таких наград я не пожалею руки моей! – воскликнул Доннершварц.

– Последнее обещание, – заметил Бернгард, – лучший перл из всех сокровищ ваших... Я не хвалюсь, но для нее умру хоть ты-

саячу раз несчастными смертями.

Он нежно взглянул на Эмму.

Ее щеки то покрывались ярким румянцем при взгляде на красивого Бернгарда, то смертельной бледностью, когда взор ее падал на неуклюжего Доннершварца. Она робко прижалась к отцу, и сердце ее билось, как птичка, попавшая в силоч.

Наконец она выбрала минуту и быстро вышла из комнаты.

– Итак, господа, мое слово свято, зарабатывайте обещанную награду!

– Она будет моей! – прорычал Доннершварц.

Бернгард не успел выразить в свою очередь надежду, как в комнату быстро вошел Гритлих в венгерском коротком костюме, обшитом шнурами. На ногах его были зеленые сафьяновые полусапожки с красными отворотами и серебряными нашивками, на боку мотался охотничий ножик, на черенке которого была золотая насечка, в одной руке его была короткая нагайка, а в другой шапка с куньей оторочкой и мерлушьим исподом.

Он учтиво поклонился гостям и особенно

почтительно фон Ферзену.

– Bravo, Гритлих, – воскликнул фон Ферзен, – мы видели твою удадь. Ты достоин того, чтобы тебе носить шпоры...

Доннершварц не дал фон Ферзену договорить, оттащил его в сторону и стал что-то нашептывать.

Бернгард дружески пожал руку Гритлиху и стал восхвалять его искусство, на что тот вежливо откланивался.

Вдруг фон Ферзен жестом руки подозвал к себе юношу, пристально взглянул на него, погладил свою бороду и с усилием сказал:

– Гритлих, скоро у нас будет резня с земляками твоими.

– Очень сожалею, благородный господин мой, что соседи не живут мирно между собой, – отвечал он выразительно.

Фон Ферзен замолчал, видимо, не находя слов, но Доннершварц продолжал за него:

– Ты русский, следовательно, должен убираться отсюда.

Гритлих с презрением взглянул на него, но не ответил ни слова.

– Слышишь ли ты, – продолжал Доннер-

шварц, – господин твой приказывает тебе поскорее убираться из замка, пока рыцари не выбросили тебя из окна на копья.

– Как, разве вы нанялись говорить за него?.. В таком случае я останусь глух и подожду, что скажет мне благородный господин мой, – твердым, ровным голосом отвечал Гритлих.

– К несчастью, это правда, – с дрожью в голосе произнес фон Ферзен, – я люблю тебя, Гритлих, и ни за что бы не расстался с тобой, но все рыцари, защитники и союзники мои, требуют этого... Я отпускаю тебя.

Несчастный юноша низко опустил голову и стоял, как пораженный громом.

Все молчали.

– Неужели ты так не любишь своей родины, что возвращение печалит тебя? – спросил после некоторой паузы фон Ферзен.

– Родины! – с жаром воскликнул юноша. – Хотя я мало знаю ее и воспитан вами, но отдам за нее всю кровь мою. Я сильно привык к Ливонии и забыл мою родину, и за это Бог карает преступника.

Он остановился, но через минуту начал

снова сквозь слезы:

– Нет, я прав, она отвергла меня: родители мои убиты палачами, которых я должен называть своими земляками, мы с ней квиты. Теперь для меня все равно, смерть для всех стелет одинаковую постель, хотя и в разной земле.

Он бросился в ноги фон Ферзену, обнял его колена, и стал умолять его не отпускать от себя.

Старик совершенно смутился, поднял юношу и не знал, что сказать.

Бернгард подошел к ним:

– Фон Ферзен! Я беру его к себе. Где же сироте безродному скитаться теперь по обнаженным полям нашим? Пойдем, Гритлих, не унижайся, ты не того стоишь.

– Стой, стой, одно условие! – прервал его фон Ферзен, обращаясь к Гритлиху. – Останься с нами. Я разрешаю тебе это, поклянись клятвой рыцаря, что исполнишь наше желание. Поклянись на мече...

Старик обнажил меч и протянул его лезвием к юноше.

Гритлих положил руку свою на обнажен-

ный меч и приготовился повторить слова требуемой от него клятвы.

– Клянись же, что ты отрекаешься от русского имени и будешь воевать с нами под нашими знаменами, которые разовьют над нами поголовную смерть, – начал торжественно старый рыцарь.

Пораженный Гритлих горько улыбнулся и снял свою руку с меча. Затем, гордо покачав головой, тряхнул своими кудрями и, не ответив ничего, пошел твердыми шагами из комнаты.

Вдруг он остановился и обернулся.

Фон Ферзен догадался, для чего, и открыл ему свои объятия.

Безутешный юноша бросился в них с роковыми словами:

– Простите! Это уж слишком, благородный господин! – говорил он со слезами в голосе. – Я не могу совсем переродиться в ливонца. Русь мне родная – я сын ее, и будь проклят тот небом и землей, кто решится изменить ей. Небесное же проклятие не смоешь ни слезами, ни кровью...

– Милое дитя мое, Гритлих! Видит Бог, я не

забуду тебя. После возвратись опять ко мне! – растроганным голосом заговорил фон Ферзен и опустил в руку юноши кошелек, полный золотом.

Почувствовав эту подачку, Гритлих быстро отошел от старика, вытряхнул из кошелька золото, а сам кошелек положил за пазуху и быстро направился к двери, но здесь встретил его Доннершварц и загородил путь.

– Остановись! Дай обещание, что ты не наведешь на нас русских, не укажешь им ближней дороги к замку, или я сделаю так, что ты не ногами, а кувыркком дойдешь до них.

– Этого еще недоставало, оскорблять меня таким гнусным, низким подозрением! – воскликнул юноша, и не успели Бернгард и фон Ферзен кинуться к нему на помощь, как он ловким движением выбил щит у Доннершварца и схватил его за наличник шлема, перевернул последний на затылок, а затем быстро вышел из комнаты.

Меч, брошенный наугад ослепленным Доннершварцем, не попал в ловкого юношу, а впился в стену и задрожал.

IX. Свидание

В роскошном, но запущенном парке фон Ферзена, опершись на дорожный суковатый посох, стоял Гритлих.

Поздний вечер уже спускался на землю, и яркие краски багрово закатывающегося на запад солнца гасли мало-помалу. На небе медленно выплывал месяц, ныряя в облаках.

Юноша продолжал стоять неподвижно на одном месте и даже не замечал, как вокруг него все более и более сгущался ночной сумрак, как шумели в пустынном парке пожелтевшие листья деревьев, колеблемые резким осенним ветром.

Он не отводил взгляда своего от замка, навеки прощаясь с этой второй своей родиной.

Почти все окна замка горели огнями, из-за них слышался какой-то гул, звон посуды и говор. Фон Ферзен встречал все новых и новых гостей, рыцарей – своих союзников. Печальный юноша поднял взор свой к одному из верхних окон, задернутых двумя сборчатыми полами занавесок, за которыми, как ему казалось, промелькнула знакомая фигура.

На дворе замка раздался заунывный колокол. Это был сигнал, поданный привратнику, что настало время запирать ворота и опускать подъемный мост. Цепи его загрохотали, на шпице башни заблестел фонарь и все умолкло, только откуда-то раздавался вой собак да ржали рыцарские кони, продрогшие от холода, на привязи у столбов.

– Пора! – сказал самому себе Гритлих, но вдруг стал внимательно прислушиваться.

Мимо забора, за которым он стоял, кто-то как будто крался, один навстречу другому. Скоро он различил и узнал их голоса.

– Черт возьми! – заговорил один из крашихся, фон Доннершварц, – как темно и жутко бродить по здешним ущельям. Ты ли это, Гримм? Ну, кривой сыч, говори скорее, что нового?

– Тс! Тише, – отвечал голос Гримма, – не шумите по двум причинам: во-первых, нас могут подслушать, а во-вторых, вы можете разбудить того удавленника, который завален вон тем камнем у красного колодца. Видите, там что-то белеется. А дело наше приходит к концу. К вечеру, послезавтра, приго-

товьте рейтаров ваших у западной башни, а до того расположите их в Черной лощине.

– Черт возьми! Уж я это слышал. Что же дальше?

– Поперхнись ты сам нечистым, – проворчал Гримм, – я вытащу фрейлейн Эмму, – продолжал он громче, – по лестнице, которую приставлю к ее окошку, завяжу ей рот и передам вам с рук на руки.

– Прекрасно! – захохотал фон Доннершварц. – То-то я насмеюсь над глупым стариком, жеманной его дочерью и над этим жиденьким хвастуном Бернгардом.

– Ради Бога, тише, благородный рыцарь! Я сам, признаюсь вам, ненавижу их всех от души, с тех пор, как отставной наш грессмейстер обошел меня и сделал кастеляном замка мальчишку Штейна, своего стремянного, но, право, боюсь, подслушают нас и вздернут нас с вами на первую осину, обновив чьи-нибудь кушаки на наших шеях, – проговорил Гримм, робко озираясь.

– Как? Меня? Рыцаря, носящего шпоры и меч, повесят на веревке, как бадью на лист, и оставят болтаться ногами и головой между

землей и небом?! Что ты! Образумься, старый Гримм.

– С тех пор, как вы захлебнулись было шлемом своим от рук Гритлиха, наш-то смотрит на вас не совсем милостиво и доверчиво.

– Черт возьми! Напомнил еще ты об нем, – закричал Доннершварц во все горло. – Если бы он не ускользнул, я бы вышиб из него душонку...

Зная, чем остановить своего бывшего хозяина, Гримм вдруг притворился испуганным, всплеснул руками и шепотом произнес:

– Посмотрите, камень шевелится, я как будто вижу посинелое лицо мертвеца и закатившиеся полуоткрытые глаза его! Прощайте. По чести скажу вам: мне не хочется попасть в его костяные объятия, а в особенности он не любит рыцарей. Помните условие, а за Гритлихом послал я смерть неминуемую; его подстерегут на дороге, лозунг наш «Форвертс!» [58].

Гримм на цыпочках и ощупью стал пробираться домой.

Перепуганный насмерть Доннершварц пустился бежать во всю рыцарскую прыть. Ско-

ро мрак скрыл их обоих от глаз Гритлиха. С другой же стороны замка послышался новый шорох.

Юноша стоял в изумлении, как вкопанный.

Он давно замечал тайную связь между коварным Гриммом и самохвалом Доннершварцем, но зная, что первый был прежде в услужении у второго, не обращал на это внимания. Теперь же счастливый случай помог ему открыть их адские замыслы относительно его и Эммы. Гритлих невольно опустился на колени и, подняв руки и очи к невидимому, но вездесущему Существо, стал горячо молиться. Это была молитва без слов от полноты охвативших его чувств.

Чистый фимиам души доступен слуху Всевышнего.

Молитва облегчила несчастного юношу, с души его скатилась будто тяжелая глыба...

Вдруг перед ним, как из земли, выросла белая фигура.

– Моя Эммхен, сестрица моя дорогая! – с рыданием воскликнул Гритлих.

Уста их слились в долгом поцелуе.

– Что стало с тобою?.. Ты так печален, как будто недоброе таишь в сердце? – спросила, наконец, Эмма, играя его кудрями.

– Ты сама не весела, – отвечал он, – верно зловещее предчувствие томит и твою грудь.

– Напротив, смотри, я смеюсь. Право, мне так хорошо теперь.

– А сама плачешь? Я ведь это чувствую: слезы твои на щеках моих.

– Зато на душе у меня так легко! С тобой и горевать весело. Ну, поверь же мне, в глазах моих плачет радость... Это наслаждение! Ты зачем мне назначил быть здесь?..

– Скажи мне прежде, чему ты радуешься?

– Тому, что ты любишь меня! А знаешь что, милый Гритлих, отец мой отдаст меня тому рыцарю, который отличится в битве с русскими. Бернгард уверял меня, что я буду его. Как я рада! Он такой милый, добрый.

Гритлих побледнел. Он насилу выговорил дрожащим голосом:

– Как, ты радуешься тому, что будет стоить мне жизни?

– Почему же? Разве... Да... ты русский, я и забыла это. Бесценный мой Гритлих, за что

ты любишь отечество больше нас. Ужели ты хочешь сражаться с противниками нашими и убить батюшку и Бернгарда?

– Бернгарда?.. О! Я забыл: ты не любишь меня, Эмма. Прощай же! Теперь я вижу, что я круглый сирота, для всех чужой на белом свете!

– Что ты, Гритлих, да тебя я не променяю ни на что на свете... И ты говоришь, что я не люблю тебя! Что сделалось с тобой? Разве Бернгард помешает нам любить друг друга по-прежнему? Если это случится, я отвергну его...

Так рассуждала чистая невинность.

– Как же ты любишь меня? – спросил Гритлих, жадно прислушиваясь к звуку ее речей.

– Да как, право, и сказать не умею. Вот отдала бы за тебя все, что имею. Мне так всегда привольно с тобой: не наговорюсь, не насмотрюсь на тебя; все бы любовалась я тобой, гладила бы кудри твои, нежила бы голову твою на груди моей. О! Не умирай, Гритлих!.. Мне будет скучно без тебя, я не перенесу этого... Я люблю тебя ненасытно, как родного моего, как брата, как...

– Только-то! – дико вскрикнул он, услышав последние слова...

Эмма вздрогнула, в ужасе отступила от него и замолчала.

Юноша, преодолев свое волнение, твердо произнес:

– Эмма, будь счастлива с Бернгардом, он стоит тебя, а обо мне забудь совершенно. Остерегайся разбойника Доннершварца и злого Гримма: они покушаются на тебя...

Он не договорил и опрометью бросился бежать от нее к калитке, выдернул засов и исчез из сада.

Эмма несколько мгновений, ошеломленная, стояла на месте и вдруг, как сноп упала на траву.

Угрюмый и печальный сидел старик фон Ферзен в комнате Эммы, около постели своей любимой дочери.

Ее нашли без чувств в парке замка, принесли и уложили на кровать.

Около нее хлопотала старая Гертруда – ее бывшая кормилица и затем нянька. Девушка лежала нема и недвижима, правая рука ее свесилась с кровати: в ней судорожно был за-

жат какой-то предмет.

Гертруда прыскала на нее свежей водой.

Эмма шевельнулась, рука разжалась и что-то упало на пол.

В эту минуту в комнату вбежал Бернгард. Его черные волосы были в беспорядке и еще более оттеняли мертвенную бледность его лица. Он упал на колени перед постелью любимой девушки и неотводно устремил на нее свой взгляд.

– Гритлих, Гритлих! Ты не понял меня, – прошептала Эмма слабым голосом и, как бы очнувшись, привстала немного, обвела глазами комнату, затем горько улыбнулась оттолкнула протянутую руку Бернгарда и снова упала на подушки.

Фон Ферзен поднял упавший из руки его дочери предмет. Это оказалась серебряная раковина. Он открыл ее и нашел русский локон – несомненно локон Гритлиха.

Бернгард взглянул и вздрогнул.

Завеса спала с глаз его, золотые сны любви рассеялись как дым, и в этом ужасном пробуждении они оба с Ферзеном поняли, кому отдано сердце Эммы.

– Где он?.. Отдайте мне его, – продолжала бредить больная. – Душно, тяжело, темно без него!.. Где я? Далеко ли он?.. Увижу ли я его?.. Что это налегло на сердце... Знать, все конечно!

С жгучею, невыразимую сердечною болью прислушивался Бернгард к этому роковому бреду молодой девушки.

Наконец он заговорил:

– Клянусь любовью моей к тебе, Эмма, я догоню его и приведу к тебе, или истрачу жизнь свою по капле подле тебя, за тебя...

Последние слова он договорил уже за дверью.

Эмма как бы пришла в себя от его слов... Она взглянула на него так нежно, так выразительно, как бы благословляя его своим взором, и этот взор пролил в его душу еще более отваги и непоколебимости в принятом им решении.

По его уходу Эмма снова закрыла глаза.

– Раздену я ее, благородный господин мой, да спать уложу, к утру все как рукой снимет, опять пташкой по замку заливаться будет, – сказала Гертруда опечаленному, сидевшему с

понишкой головой, фон Ферзену.

Он посмотрел в последний раз на свою дочь, встал и медленно вышел из комнаты к гостям, которые продолжали пировать в готической столовой замка Гельмст, заранее торжествуя победу над русскими бродягами.

Не рано ли?

Х. В московской думной палате

В то время, когда в замке Гельмст рыцари Ордена меченосцев с часу на час ждали набегов новгородских дружинников; в то время, когда в самом Новгороде, как мы уже знаем, происходили смуты и междоусобия по поводу полученного от московского князя неожиданного запроса, а благоразумные мужи Великого Новгорода с трепетом за будущее своей отчизны ждали результата отправленного к великому князю ответа, посмотрим, что делалось тогда в самой Москве.

Было 30-е сентября 1477 года.

Роковая запись новгородская была получена накануне, и великий князь повелел для выслушания ее собраться всем ближним своим боярам в думную палату для окончатель-

ного разрешения дела относительно вольной отчины своей – Великого Новгорода.

К назначенному по обычаю того времени раннему часу думная палата великокняжеская была полна. Сам великий князь восседал на стуле из слоновой кости с резною спинкою, покрытой бархатною полостью малинового цвета с золотой бахромою.

Высокие рынды в белых одеждах стояли чинно по обе его стороны. На правую руку от великого князя стояла скамья, на которой лежала его шапка, а по левой другая с посохом и крестом.

Невдалеке сидел митрополит Геронтий, окруженный высшими духовными чинами, а затем уже на лавках, устланных суконными подушками, заседали бояре и князья.

Подьячий Родион Богомоллов с пером за ухом стоял, вытянувшись в струнку, на конце делового стола и держал под мышкой длинный столбец бумаги.

Копейщики и дети боярские с заряженными пищалями стояли на страже у дверей.

Когда известная уже читателям запись была прочтена, лицо великого князя сделалось

сумрачно, бояре и князья стали переглядываться между собою, поглаживать свои бороды, приготовляясь говорить, но, видимо, никто первый не решался нарушить торжественную тишину.

Иоанн Васильевич обвел глазами собрание, остановив на несколько мгновений свой взгляд на Назарии, сидевшем с опущенной долу головой, и на митрополита, погруженного в глубокие, видимо, тяжелые думы.

– Владыко святой, – начал он, – и вы все, верные сыны, опора отчизны нашей, не сердобольно ли слушать нам, как отвечают единокровные нам смельчаки новгородские. Они торжественно и бесстыдно запираются в данном мне от них имени государя, они, строптивые, казнят позорною смертью верных людей законному государю своему, прямо намекают о намерении поддаться Литве иноплеменной и явно выставляют меня лжецом. Как грибы растут они перед стенами вражескими, мечи их хозяйничают на чужбине, как в своих кисах, а самих хозяев посылают хлебать сырую уху на самое дно. Кто их не знает, того тело свербит, как ваши же языки, на острие.

– Смотри, пожалуйста, как эти чернильные дрожжи раздулись! Отодвинься, князь Данила, а то они лопнут, так забрызгают! – сказал Сабуров.

– Долго ли до греха, – отвечал князь Данила Холмский, – он и сам-то не просох еще с давешней попойки. Разве попробовать выжать его, начать хоть с головы, а от нее уже и до ног не далеко.

Кругом раздался общий хохот.

– А земляк-то его прикусил язык.

– Видно, слова наши прямо в цель попали, – заметил Ряполовский.

Терпение Назария истоцилось, глаза его разгорелись, руки невольно сжали рукоятку меча, он вскочил с места и произнес дрожащим от гнева голосом:

– Кто хочет слышать ответ мой, тот может принять его с конца копья...

Великий князь, разговаривавший все время с митрополитом, повернулся в сторону споривших и повелительно произнес, указав на Назария:

– Правда, он горожанин без отечества, но и вы люди без души, если ставите ему в укор

любовь к родине. Теперь он москвитянин, столичный град наш – кровь его, рука моя – щит, а самая заступа его – честь его; кто хочет на него, пойдет через меня.

Бояре разом умолкли.

«Забылись мы! – подумал каждый про себя. – Вот что значит свое и чужое!»

XI. Увещательная грамота

– **Пиши!** – обратился великий князь к подьячему Богомолу.

Тот быстро развернул столбец бумаги, обмакнул перо в медную чернильницу и стал выводить им крючковатые старинные буквы, под диктовку самого Иоанна:

«Люди новгородские! Рюрик, святой Владимир и другие предки мои, память им вечная, повелевали вами, как подвластными себе во всю волю свою и вы не смели послушаться их. Вы служили им верно и честно, и вся эта честь принадлежит вашим предкам; теперь я наследую право сие, жалую вас, ограждаю силою моею, но могу ею зло казнить дерзких ослушников. Когда вы были ведомы Литвою и платили ей поголовную дань свою, я не бре-

менил вас своею такою же, но только истребовал законной доли своей, установленной веками, дедами и отцами нашими; вы же замыслили и прежде и теперь сделаться отступниками от нее, стало быть и от меня, и хотите опять предаться Литве, несмотря на завещание предков: блюсти повиновение законное старшему удельному князю Русскому. Князь Божий над вами. Вы побили торговою казнию честных горожан, преданных мне, и, что всего позорнее, оболгали меня перед всею Русью, яко бы не называли меня Государем своим. За все сие я посылаю вам складную грамоту и вслед за ней иду со всем воинством моим, наказать вас, строптивых ослушников. Но я как чадолюбивый отец готов еще помиловать вас, детей своих, если вы одумаетесь и, преклонив повинные головы, испросите у меня отпущение за все вины свои, подтвердите прежние слова свои и согласитесь на все условия, извещенные вам под стенами Новгорода Великого – там повидаемся мы!»

Митрополит собственною рукою сделал приписку на этом же столбце:

«С соболезованием душевным слышу о

мятеже и расколе вашем. Бедственно и единому человеку уклониться от пути правого, но еще гибельнее вдаваться в него целому народу. Вам самим ведомо «не суть боги их яко наш Бог!» Трепещите заблудшие, страшный серп Божий, виденный пророком Захарием, да не снидет на главу сынов ослушных; вспомните реченное в Святом Писании: «беги греха, яко ратника, беги от прелести, яко лица змеина». Сия прелесть есть латинская: она уловляет вас опять легковерных. Разве пример Византии не доказал гибельного действия увещания ее? Греки славились благочестием, соединились с Римом и служат ныне туркам нечестивым. Опомнитесь же, вразумитесь силою бодрости душевной и воспряньте от нечестия, омрачающего вас! Доселе вы были сохранными, целы, под прочною рукою Иоанна, но когда отвергаетесь от него и погибнете. Страшно подумать, как дерзнули вы злоязычничать на законного повелителя вашего и отступать от собственных словес и письмен, начертанных руками вашими с любовного согласия всего Новгорода и владыки вашего Феофила!».

«Троекратно увещаваю вас, не забывайте слов Апостола: «Бога бойтесь, а князя чтите». Состояние града вашего ныне уподобляется древнему Иерусалиму, когда Бог готовился предать его в руки Титовы. Смиритесь же, да прозрят очи души вашей, от слепоты своей – и Бог мира да будет над вами непрестанно, отныне и до века. Аминь».

Отданная на обсуждение бояр грамота и отпись к новгородцам получили всеобщее единогласное одобрение; сам Назарий согласился, что поступить иначе с ними нельзя.

– Защита новгородцев – это паутинное ткание! – сказал Федор Давыдович. – Я сам видел, как тщатся они о войне: пьют, да бьют – вот и все, что можно об них сказать.

– Тем лучше! Как мы нагрянем на них, так поневоле придут к нам челом бить, как на страшное судилище, – ответил Холмский.

– Я со своей стороны давно подумывал, что пора подчинить их самосудную власть одному князю. Насмотрелся я вдоволь на их посадников. Это не блюстители правосудия, а торгаши властью и совестью; правота там продается, как залежалый товар, – заметил снова

Федор Давыдович.

– Грустно об этом слышать, не только видеть подобное зло! – промолвил Стрига-Оболенский.

– И зло и язву! Этими недугами болят уже псковитяне: и к ним она прикоснулась, – произнес Ряполовский.

– Да, да, они во всем передразнивают новгородцев, – согласился Сабуров.

– Да как же! В случае задирки кого-нибудь, Новгород им подмога, а в случае утяги с битвы, он для них всегда был теплою пазушкой, – сказал князь Холмский.

– Не добрые вести расскажу вам и про Тверь, – начал боярин Ощера, недавно вошедший в Думную палату, – и в ней поселилась литовщина. Тверь лишь тем рознится от Новгорода, что тот бушует вслух, а эта втихомолку, про себя. Я давно примечаю тверских шагунов в Москве и давно бы пора захлестнуть их за шею, да нельзя еще явно повыхватать из народа. Вот как мы гульнем к ним на перепутье, повысмотрим, да повыглядим их движения, да усмирим новгородцев и заметим по дороге притаившихся молодцов, чтобы так –

одним камнем наповал обоих!

– Уж где литовщина, там и бесовщина! – заметил Назарий.

Бояре в присутствии великого князя всегда говорили между собою не громко, но чуткое ухо его не пропускало мимо ушей их слова, несмотря на то, что он порой занимался другим делом. По его наказу Ощера переряжался в разные платья и шнырял между народом, причем его обязанностью было не говорить, а только слушать, держась его же заповеди: не выпускать, а принимать.

Дела и даже самые мысли князя Михаила были нанизаны перед ним как на ниточке. От этого он и брал все меры осторожности, оттого про него и говорили в народе:

«Князь московский думает, да замышляет: нынче – друг, завтра – враг, ты о чем только подумаешь, а он уже это сделает».

Великий князь, между тем, подписал грамоту и отпустил Богомолова.

По его уходе двери Думной палаты распахнулись и Иоанн повелел собрать полный совет народный, для выслушания воли его. Перед лицом великого князя предстали, кроме

митрополита, епископов, братьев, бояр и прочих думных людей, окольников, стольники, стряпчие, дьяки, головы, сотники, дети боярские, гости, жильцы, торговые и другогословия люди.

Думный дьяк и печатник изложили им дело и потребовали их мнения.

Когда они замолчали в ожидании ответа, присутствующие единогласно воскликнули:

– Государь-надежа, возьми оружие. Будет тебе угодно, отцу нашему, и мы пойдем воевать Новгород. Во всем твоя воля. Повели, и пойдем искать охочих людей сберегать твою особу и наказать ослушников воли твоей.

– На начинающих Бог. Да будет война! – торжественно произнес Иоанн.

Народный совет кончился.

Через несколько дней были посланы по всем городам московского княжества гонцы, или бирючи (их называли также кличаями), с грамотами, в которых объявлялось всем и каждому, кто обязывался носить оружие, собираться в стольный город Москву, чтобы оттуда вместе выступить на врагов.

ХII. Под стяг московского князя

Полки начали собираться под стенами московскими. Из всех мест то и дело приходили в большом числе ратники: их не приневодили – они сами шли охотно на службу Иоанна Великого.

В числе их находились жители уже присоединенных в то время московским князем тверских и новгородских земель – областей: Кашинской, Бежицкой, Новоторжской и других.

Сам Иоанн, следуя обычаю предков, раздавал перед войной милостыню бедным, делал большие вклады в храмы монастыри и молился над прахом своих предместников в соборах, которые были день и ночь открыты для богомольцев.

Наконец настало 9 октября – день выступления соединенной московской дружины. День был тихий, ясный; солнце при восходе яркими лучами рассеяло волнистый туман и, величественно выплывши на небо, отразилось тысячами огней на куполах церквей и верхах бойниц и башен кремлевских.

Послышался звон с колокольни Иоанна Лествичника, колокола других церквей заворили ему, и разлился красный звон по всей Москве, как в Светлую Христову ночь.

Кремль уже кипел народом, но толпы его все прибывали: все спешили проститься с любимым князем, с дружиною его, отцами, сыновьями, мужьями и внуками, отправляющимися искать ратной чести на чужбине.

Звук гудящей меди не пугал москвитян. С веселыми лицами приветствовали они золотым огнем рассыпавшуюся денницу и друга друга, как бы в день Светлого Христова Воскресения, обнимались, целовались и проливали слезы умиления, созерцая великолепную и трогательную картину собиравшихся под развевающиеся знамена, как под хоругви защиты небесной, бравых веселых ратников.

От Красного крыльца до Успенского собора народ стоял в два ряда, ожидая с нетерпением великого князя, который прощался со своей матерью, поручая юному сыну править Московю, одевался в железные доспехи и отдавал распоряжения своей рати.

Распоряжения эти были следующие: всей

дружине разделиться на пять полков: на большой, передовой, правый, левый и сторожевой или запасный; для самого же себя назначил отборный, чтобы в таком порядке выступить из Москвы впредь до дальнейших распоряжений.

Любимая, дряхлая мать Иоанна, наконец, троекратно перекрестила великого князя, повесила ему на шею охранительный крест с мощами, поцеловала его и, горько заплакав, отпустила его.

Лишь только показался великий князь на Красное крыльцо – в народе и среди войска раздался общий крик восторга:

– Властитель наш, богоизбранный государь-надежда, ты любимец неба и земли. Поведай нами; рады умереть за тебя все до единого, рады для тебя сложить головы свои и вражеские!..

Иоанн приветливо улыбнулся и пошел далее, кланяясь во все стороны.

Бояре и стража следовали за ним.

Митрополит со всем духовенством, в праздничном облачении, с образами Всемилостивейшего Спаса, Владимирской Богомате-

ри, писанным евангелистом Лукою, и св. Георгия Победоносца, высеченным из камня, с хоругвями, величественно колыхавшимися над обнаженными головами толпы, шел навстречу ему при пении клира: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его».

Великий князь благоговейно приложился к святым иконам, низко-низко преклонился перед владыкою Геронтием, когда тот осенил его животворящим крестом.

– Аз воздвиг тя, царя правды, – говорил митрополит, – и приях тя за руку десную и укрепих тя, да послушают тебя языцы, и крепость царей разрушиши, и Аз пред тобою иду и горы сравню, и двери медные сокрушу, и затворы железные сломлю. Тако гласит Господь.

Архиепископ Виссарион добавил, благословляя в свою очередь Иоанна:

– Да будет тако! Благословение наше на тебе и на всем христолюбивом воинстве твоём. Аминь.

На далекое пространство развернулась картина собравшегося войска перед восторженными взорами великого князя.

Знамена его, или по-тогдашнему стяги, были окроплены святою водою.

Чудную, невыразимую пером картину представлял Кремль.

День блистал лучезарный, ослепительный, несмотря на то, что на дворе стоял уже угрюмый октябрь.

Небо как будто бы праздновало вместе с землею счастливое выступление русских дружин.

Горевшие под яркими лучами солнца кресты и купола храмов, светлые кольчуги и нагрудники стройных дружин, недвижно внимавших поучения слова Господня, произнесенного митрополитом, тысячи обнаженных голов горожан и тысячи же поднимавшихся рук для совершения крестного знамения, торжественный гул колоколов – все это очаровывало взгляд и наполняло души присутствовавших тем особенным священным чувством благоговения, которое редко посещает человеческие души.

Это была беседа небес с землею.

Колокольный звон постепенно стихал, на смену ему разливался другой: заиграли рога,

трубы, запели зурны[59], зазвучали накры, или бубны. Кони начали ржать, ратники за- двигались и стали быстро садиться на коней, бряцая оружием.

Надобно заметить, что в описываемое нами время было больше конницы, нежели пехоты, а оружие русских воинов состояло уже не из самострелов, подкатных туров, приступных перевесов, быков, баранов или огнестрельных пороков, или зелий, и прочих орудий, употреблявшихся ранее при осадах, но из пушек и завесных пицалей[60].

Ножи бывали также не у всех воинов, но мечи и копья – у каждого.

XIII. Выступление и поход

Великому князю подвели богато убранного вороного коня, покрытого алой бархатной попоной, унизанной жемчугом и самоцветными камнями. Уздечка на нем была наборная из среброчеканенных колец.

Князь Василий Верейский, сжимая острогами крутые бока своего скакуна, уже гарцевал перед теремом княжны Марии, племянницы великой княгини Софьи Фоминишны. Наличник шлема его был поднят, на шишаке развевались перья, а молодецкая грудь была закована в блестящую кольчугу.

Княжна Мария, любуясь в косячатое окно на своего суженого, роняла на грудь блески слезинок... но роман их не служит нам темою: об их будущем браке говорит история.

Бояре и воеводы плотно окружили своего князя.

Все еще раз истово перекрестились на храмы, поглядели на кремль, вообще, каждый на свой терем – в особенности и, поклонясь народу на все четыре стороны, двинулись.

Скоро густые облака пыли, поднятые кон-

ницей, скрыли из виду удаляющиеся дружины; только изредка мелькали вдали кольчуги, подковы лошадей да брызгающие из-под них искры.

Все оставшиеся, поникнув головами, начали расходиться.

Столица осиротела.

Предки Иоанновы, воевавшие с новгородцами, бывали иногда побеждаемы неудобством перехода по топким дорогам, пролегающим к Новгороду, болотистым местам и озерам, окружавшим его, но, несмотря на это, ни на позднюю осень, дружины Иоанна бодро пролагали себе путь, где прямо, где околицею. Порой снег заметал следы их, хрустел под копытами лошадей, а порой, при наступлении оттепели, трясины и болота давали себя знать, но неутомимые воины преодолевали препятствия и шли далее форсированным маршем.

Москвитяне, раздосадованные изменой новгородцев, остервенились и, казалось, считали их хуже татар.

Все встречавшееся им трепетало перед ними, как перед лютейшими врагами; по лесам,

до тех пор непроходимым, гнали они отнятый скот, везли продовольствие и были веселы и сыты.

От востока и запада неслись они ураганом к озеру Ильмену.

Сам великий князь с отборным полком шел впереди, направляясь через Торжок на дорогу, находящуюся между дорогами Яжелбицкою и Мстою.

Татарский царевич Данияр, сын Касимов, и Василий Образец назначены были идти в сторону от него по Замте.

Князь Даниил Холмский шел за Иоанном с детьми боярскими, владимирцами, переяславцами и костромитянами, за ним два боярина с дмитровцами и коломенцами.

С правой стороны – князь Симеон Ряполовский с суздальцами и юрьевцами, а с левой – брат великого князя Андрей Меньшой и Василий Сабуров с ростовцами, ярославцами, угличанами и бежичанами; с ними шел воевода матери великого князя [61] Семен Пешков с ее двором.

Между дорогами Яжелбицкою и Демонскою шли князя Александр Васильевич и Бо-

рис Михайлович Оболенские; первый с калужанами, радонежцами, новоторжцами, а второй с можайцами, волочанами, звенигородцами и ружанами (жителями города Рузы).

По самой дороге Яжелбицкой шел боярин Федор Давыдович с детьми боярскими двора великокняжеского и коломенцами, а также князь Иван Васильевич Оболенский со всеми его братьями и детьми боярскими.

Передовой отряд великого князя достигал уже Торжка, и за ним шел сам Иоанн Васильевич.

В Торжке народ встретил московского князя искренними восторженными криками – жители Торжка любили более москвитян, как своих одноплеменников, чем литовцев, которых они звали голыми челядинцами.

Князь Михаил Микулинский – любимец князя тверского Михаила – сделал Иоанну торжественную встречу.

Он сошел перед ним со своего коня, низко поклонился и приветствовал от имени своего князя, приглашал от его лица в Тверь откушать хлеба и соли.

– Не время угощаться мне, – отвечал

Иоанн. – Не за тем поднялся я в поход дальний, чтобы пировать пиры по дороге, если же хотите доказать приязнь свою, то приготовьте мне воинов, чтобы вместе наказать нам непокорных новгородцев. Хочу я так поступать отныне со всеми открытыми и застенными врагами...

Микулинский понял намек и, запинаясь, отвечал:

– Мы всегда готовы покорствоваться тебе, князю князей: повели – представим тебе потребное число воинов. Мы не ослушники твоей воли...

– Знаю и тех, кто одной рукой обнимает, а другой замахивается. Я жду воинов ваших к делу, которое скоро начнется, – с ударением заметил великий князь.

Князь Микулинский молча поклонился и отошел в сторону.

За ним представились Иоанну новгородские послы – опасчики, прибывшие просить у великого князя опасных грамот для архиепископа Феофила и посадников, намеревавшихся отправиться к нему для переговоров. Их было трое: староста Даниславской улицы, Фе-

дор Калитин, гражданин Житов и гражданин Марков.

– Низменно бьем челом тебе, государю нашему! – говорили они. – Желаем благоденствовать многие века и просим униженно милосердия твоего: повели дать свободный пропуск...

Иоанн почти не взглянул на них и, прервав их просьбу, сказал:

– Вы сами ниже земли поступками своими, лицемерные люди! В глаза признаете меня государем, а заглазно не только не держите имя мое грозно, но еще всячески его поносите. Я переговорю с вами выстрелами...

Он сделал знак рукою, послов схватили и увели, а великий князь поехал обедать к брату своему Борису Васильевичу в Волок со всею свитою и князем Микулинским.

Во время шумной и роскошной трапезы разговор, конечно, вертелся на цели похода – Новгороде.

Московские бояре по очереди выходили, по обычаю того времени, из-за стола на середину обширной гридницы и кричали:

– Пьем за здоровье великого князя, всего

двора его, воинства и союзников!

Князь Микулинский закричал:

– Я пью за здоровье будущего победителя новгородцев!

«И тверитян», – подумали многие про себя, осушая большие кубки.

– Будущее таится в руке Божией, – скромно произнес Иоанн, – а лучше выпьем за бывших победителей их, подивимся храбрости доблестных мужей и произнесем им в тайне души вечную память.

Хмель вскипятил кровь молодости и разогрел холод старости – языки развязались, бояре стали разговорчивее, смелее.

– Правду-матку сказать, государь, – воскликнул Ряполовский, – ты победил их пяток лет тому назад. Честь тебе и слава! Но сами они тоже часто натыкались на смерть, купленную ими междоусобною сварою: она на них из-за каждого угла целила стрелы свои и на твое оружие натыкались они, как слепые мухи на свечку. Стало быть, следует пить и за их здоровье: они и сами много помогли победить себя.

– Непременно, – подхватил Сабуров, – дух

междоусобий был для них меч обоюдоострый; памятен этот нашим предкам.

– Но вы забыли прибавить к числу собственных их язв острые языки литвин, – сказал Федор Давыдович. – Они, как ножи, втыкались в уши новгородцев и вели их короткою дорогою на погибель.

– Кому здоровье, а им анафема, двоедушникам!..

Клянусь всей роднею моею, покинутой в Москве, не щадить до конца жизни это проклятое племя, если встретятся они с нами в битве за новгородцев, хотя бы они налетели на нас на огненных драконах! – вскричал князь Даниил Холмский.

– В Новгороде, говорят, конский падеж, а так как они не завелись еще воздушными конями, то, наверно, выедут против нас на коровах, – пошутил боярин Ощера.

На шутку его, однако, никто не откликнулся.

– Храбрым воинам здоровье, литвинам анафема! – резюмировал бывший при особе великого князя Назарий.

Я заколочу тем рот до самой рукоятки ме-

ча моего, кто осмелится тайно или явно доброжелательствовать им и поминать их не лихом! – воскликнул князь Василий Верейский.

Трапеза, между тем, окончилась.

Иоанн дал знак к походу.

С московскою дружиною отправился и брат великого князя Борис Васильевич.

XIV. Новгородские перебежчики

Четвертого ноября к соединенным московским дружинникам присоединились тверские, под предводительством князя Микулинского, и привезли с собой немалое количество съестных припасов.

Но воины тверские были плохо одеты для ненастного времени и были, видимо, с расчетом не завидны ни для своих, ни грозны для неприятеля, ни по виду, ни по летам, ни по вооружению.

Московитяне смеялись над ними:

– Да они, видно, у смерти напрокат выпрошены, – говорили они, – и грозны столько же для нас, сколько и для врагов, и тех, и нас станут морить не от меча-кладенца, а от смеха.

Иоанн заметил эту хитрость тверского

князя, но молчал и был милостив к пришедшим воинам и приветлив с их предводителем.

Через несколько времени великий князь потребовал к себе задержанных опасчиков новгородских, укорял их в неверности и, наконец, велел дать им охранные и опасные грамоты для послов и отпустил восвояси.

Между тем в стан его стали прибывать многие знатные новгородцы и молили принять их в службу; иные из них предвидели неминуемую гибель своего отечества, другие же, опасаясь злобы своих сограждан, которые немилосердно гнали всех подозреваемых в тайных связях с московским князем, ускользнули от меча отечества и оградилась московским от явно грозившей им смерти.

В числе прибывших новгородских вельмож был к удивлению всех посадник Кирилл – отец Чурчилы.

Все знали в нем верного приверженца новгородской вольницы и ревностного защитника ее прав.

– Какой ветер вынес тебя из дома отцов твоих и занес сюда? Добрый или злой? – спро-

сил его великий князь.

– Там потянул на меня злой ветер, государь, а к тебе занес добрый, – отвечал Кирилл. – Обида невыносимая, личная, сгибает теперь главу мою пред тобою. Прикажи, я поведаю ее.

– Что мне до того? Тебя и всех старейших Новгорода можно назвать детьми, потому что вы играете опасностью, страшитесь безделицы. Ты был один из злейших врагов моих, и я наказую тебя милостию моего прощения, – ласково положил руку Иоанн на плечо Кирилла.

– Истинно наказуешь, – воскликнул последний со слезами в голосе, целуя руку великого князя. – Раскаяние гложет, совесть душил меня. Позволь хоть умереть за тебя.

– Хорошо, старик, – отвечал Иоанн, – скоро я пошлю тебя опять домой с ратью моею. Если ты верно сослужишь мне эту службу, то сам в себе успокоишь совесть, а если – ты понимаешь меня – хотя ты скроешься в недра земли, не забудь, есть Бог между нами!

– И с нами, государь! Везде присутствует Дух Его. Посылку твою приму я, как драгоцен-

ную награду: она зажжет в старике пыл молодости и укрепит мою руку. Первая голова вражеская падет от нее за Москву, вторая – за детей и братьев твоих, а моя – сюда скатится, за самого тебя!..

– Ну, что ваш Новгород? – спросил великий князь других, – думает ли он обороняться?

– Смотрит-то он богатырем, государь, – отвечали они, – силится, тянется кверху, да ноги-то его слабеньки. Помоги немного, упадет он сперва на колени, а там скоро совсем склонится, чокнется самой головой о землю, рассыплется весь от меча твоего и разнесется чуть видимою пылью, так и следа его не останется, кроме помину молвы далекой, многолетней...

Эта льстивая речь оказалась пророчеством.

Всех новгородских перебежчиков великий князь принял в свою службу и милостиво одарил.

Достигнув Палины, Иоанн вновь устроил войска уже для начатия неприятельских действий, вверив передовой отряд брату своему Андрею Меньшому и трем опытнейшим и

храбрейшим воеводам, Холмскому, Федору Давыдовичу и князю Ивану Оболенскому-Стриге.

Распорядясь таким образом, он послал своего дьяка Григория Волина с записью в Псков, требуя себе подмоги и продовольствия от псковитян.

Московский дьяк, прибывши в Псков, увидел в нем почти одни головни, торчащие обгорелые столбы, да закоптелые стены, оставшиеся от недавно бывшего в городе пожара.

– Вот, ты сам видишь, – говорили псковитяне Волину, – какую мы помощь можем оказать великому князю, когда сами нуждаемся в ней.

– Вижу, – отвечал дьяк, – что не стены ваши целы, а сами вы, да нам они и не нужны, а вы сами. Что вам тут осталось делать, не жар загребать, или начинать работать топором! Лучше действовать мечом.

– Да мы еще льем слезы на пепел наших жилищ, – говорили они уклончиво.

– Уж теперь поздно заливать ими пожарище, – отвечал он, и настойчиво продолжал требовать от них людей и оружие.

Псковитяне уже перешепнулись с новгородцами, которые соблазняли их соединением с собою и разными заманчивыми выгодами, но благоразумие взяло верх.

Псковитяне, поняв, что от всякого выигрыша, полученного ими от новгородцев, они будут в проигрыше, собрались на вече.

– Если мы передадимся Новгороду и он падет, – говорили они между собою, – то придавит и нас. Лучше не раздраживать московского князя, а поскорее услужить ему всячески, чтобы самим дорого не пришлось расплачиваться.

К тому же псковский наместник, князь Василий Васильевич Шуйский, настаивал на скорейшем исполнении великокняжеской воли, и они, хотя со вздохом, но выдвинули свои пушки и самострелы и, набрав сильную рать с семьёю посадниками, выставили ее Шуйскому, который и поспешил с нею к берегам Ильменя, к устью Шелони, как назначил ему великий князь.

XV. Новгородское посольство

23-го ноября великий князь находился уже в Сытине.

Рано утром, когда солнце на востоке, застланное зимним туманом, только что появилось бледным шаром без лучей, и стан московский, издали едва заметный, так как белые его палатки сливались с белоснежной равниной, только что пробудился, со стороны Новгорода показался большой поезд.

Это было посольство, с владыкою Феофилом во главе.

Подъехав к великокняжеской палатке, отличавшейся от других своим размером и золотым шаром наверху, прибывшие сняли шапки и подошли.

Остановленные стражею, они передали ей свое желание видеть великого князя и говорить с ним.

Десятник стражи доложил об этом ближайшим боярам великокняжеским, а последние ему самому.

Но он уже слышал голоса прибывших и вышел к ним.

Посольство состояло из многих людей всякого чина в богатых собольих шубах нараспашку, из-за которых виднелись кожухи, крытые золотой парчой.

Архиепископ Феофил смиренно стоял впереди и низко поклонился великому князю.

Его примеру последовали и другие.

– Государь и великий князь! – начал Феофил, – я, богомолец твой, со священными семи соборов и с другими людьми, молим тебя утешить гнев, который ты возложил на отчину твою. Огонь и меч ходят по земле нашей, непусти гибнуть рабам твоим под зельем их.

Другие обратились к нему с просьбою о даровании свободы закованным в московские цепи новгородским боярам.

– Они сами сковали их на себя! – сурово отвечал Иоанн и, не продолжая с ними разговора, пригласил их, однако, к себе на трапезу.

Во время последней великий князь посылал боярам кушанье в рассылку, а новгородцам особенно и, кроме того, хлеб, в знак милости, по обычаю того времени, а Феофилу – соль, в знак любви.

Ендовы переварного меда возвышались на столе для всех, а владыку новгородского Иоанн угощал из собственного поставца.

Все были обворожены его обхождением и не знали, как изъявить ему свою преданность.

– Если бы зависело от одного меня отдать тебе город, государь, – сказал Феофил, – я бы устроил это скорее, чем подумал.

– Верю, – отвечал Иоанн. – Но мне желательно знать, как приняли новгородцы мою записку, отправленную к ним еще из Москвы? Что придумали и что присудили думные головы отвечать на нее? За мир или за меч взялись они?..

Феофил молчал, уныло опустив голову.

Великий князь понял и тоже замолчал.

Разговор сделался общий между боярами.

– Скоро, чай, вы будете постничать: город ваш со всех сторон обложим ратью нашей так, что и птица без спроса не посмеет пролететь в него, – говорил один из московских бояр новгородскому сановнику.

– Если не птицы, так стрелы наши станут летать к ним рассыпным дождем! – заметил

другой.

– Что ж, в таком случае вам придется взять город порожний! – спокойно отвечал новгородец.

– Это значит, вы все хотите помереть голодною смертью?

– Нам некогда будет думать об яствах, сидя на стенах и на бойницах!

– Им голодным-то еще легче будет перескакивать через стены, чтобы отбивать нас от них! – слышалось замечание.

– А я думаю, напротив: тощие-то они не перешагнут и через подворотню домов своих, не только что через стены... Да и для нас будет лучше, так как не ловко метиться в тени, – возразил другой боярин.

– Зато мы не будем промахиваться в смельчаков московских; наши огнеметы добрые, только подходите погреться к ним; как шаркнут, на всех достанет, – заметил новгородец.

– Не так ли, как лет пяток тому назад, когда огнеметы ваши сами прохлаждались в озере? – спросил его Ряполовский.

– Тогда были изменники среди нас; их вы

осыпали золотом, а теперь они засыпаны землей, – с торжественною язвительностью отвечал новгородец.

– И теперь они есть, только, хвала Создателю, не между нами, – заметил другой, и обвел взглядом обширный стол, но Назария и Захария не было в палатке великокняжеской.

Трапеза кончилась.

Иоанн, выходя из палатки, подозвал к себе князя Ивана Юрьевича и поручил ему говорить за себя с посольством.

– Чего вы хотите от государя моего, чтимые мужи новгородские? – спросил он их.

– Князь! Одна наша просьба до него и вас: уймите мечи свои. За что ссориться нам и что делить единокровным сынам Руси православной? – отвечал один из них.

– Челобитье наше перед государем! – заговорил другой. – Прими от нас милость свою, мужей вольных, а там пусть будет то, что Бог положит ему на сердце; воля его, терпенье наше, а претерпевший до конца спасен будет.

– Милость и казнь в его власти, – отвечал им князь Иван, – ни то, ни другое не обойдет вас. Покоритесь и примите его в ворота град-

ские, как единственного законодателя вашего.

– Мы дозволим ему делить власть с вечем, – заявили новгородцы, – только оставь он нам чтимое место, завещанное нам и всем потомкам нашим от дедов и отцов...

– Пожалуй, обратите ваш колокол в трон, и воссядет на нем князь наш, и начнет править вами мудро и законно, и хотя не попустит ни чьей вины пред собою, зато и не даст в обиду врагам. Скажите это землякам вашим – и меч наш в ножнах, а кубок в руках, – сказал князь Иван.

– За что гнев его поднялся над главами нашими, как гроза небесная? Разве мы не чествовали имя его грозно? Разве не ломились под нашими богатыми дарами золотые блюда, когда мы подносили их его чести? Разве не низко клонили мы головы свои и самому ему, и вам, господам честным? Примите нас в милости свои. Попутал нас прежде враждебный дух Литвы; но ныне не поддадимся ему! На вас вся надежда наша: не обойдите нас заступлениями своими: замолвите за нас слово у князя великого, и благодарность наша к

вам будет не малая, – упрашивали князя Ивана новгородцы.

В разговор вмешался боярин Федор Давыдович.

– Однако, Литва-то оставила в вас недобрые семена свои, – семена лжи и непризнательности. Не вы ли прислали сановника Назария и вечаевого дьяка Захария назвать князя нашего государем своим и после отреклись от собственных слов своих? Не вы ли окропили площади своего города кровью мужей знаменитых, которых чтит сам Иоанн Васильевич? Не вы ли думали снова предаться литвинам... Теперь разделяйтесь же с оружием нашим, или сложите под него добровольно свои выи, одно это спасет вас.

Князь Иван добавил в заключение:

– Долго терпел князь наш нестерпимое, но теперь обнажил меч свой по слову Господню: «Аще согрешит к тебе брат твой, обличи его наедине, аще не послушает, – поими с собой два или три свидетеля, аще же тех не послушает, повеждь церкви, аще же церкви не радеть станет, будет тебе яко язычник и мытарь». «Уймитесь и буду вас жаловать», писал

вам великий князь, – но вы не правым ухом слушали слово его, и милость его прекратилась к вам. Заключение горожан также не освободит великий князь, так как вы сами прежде жаловались на них, как на незаконных грабителей отчизны вашей. Ты сам, Лука Исаков, находился в числе истцов, и ты, Григорий Киприянов, от лица Никитиной улицы, – продолжал князь Иван, обращаясь то к тому, то к другому. – Мои уста произносят слова великого князя. Будете хотеть образумиться, вам условия ведомы, а то меч помирит нас, хотя и не он поссорил.

С поникшими головами слушали новгородцы увещания московских воевод и, сказав, что они сами ничего решить не могут, вышли из палатки и немедленно отправились восвояси, под охраной великокняжеского пристава от далеко не мирно настроенных против них московских дружин.

Вскоре после их отъезда двинулись и московские дружины к Городищу для занятия монастырей, чтобы новгородцы не выжгли их.

Воины смело вступили на лед озера Иль-

меня.

– Настало время послужить государю! За нас правда и Бог Вседержитель! – говорили они.

XVI. Перед осадой

Возвратимся на время в Новгород, дорогой читатель, и посмотрим, что делалось там во время похода Иоаннова.

Вечевой колокол гудел чуть не ежедневно, и на дворище Ярославовом собирались посадники и старосты всех улиц в ожидании ответа Иоанна на запись их.

Архиепископ Феофил был неусыпным блюстителем тишины и спокойствия, несмотря на то, что Марфа с тысяцким Есиповым и с литовскою челядью всегда успевала перекричать даже вечевой колокол.

Ворота чудного дома Борецкой были широко отворены не только для клеветов ее, но даже для нищей братии, для всех, кто желал утолить свой голод и жажду.

Служители Марфы, кроме того, щедрою рукою рассыпали монету толпившемуся на дворе народу, и последний, под влиянием хмеля,

оглашал воздух восторженными в честь щедрой хозяйки криками.

Борецкая, окруженная всегда толпой своих приверженцев, осушавших бесчисленные кубки, с восторгом прислушивалась к этим крикам.

Она владела несметными, непрожитными богатствами и, лишившись своих сыновей, видя свою темную одинокую будущность, не знала, кому передать свои сокровища, а потому, всецело отдавшись честолюбию, решилась купить ими историческую славу.

Она достигла этого, хотя слава ее печальна.

Наконец ожидание посадников и старост окончилось. Радион Богомоллов прибыл в Новгород с ответной грамотой от московского князя и проехал прямо на вече.

Народ повалил туда со всех сторон, столпился на дворнице Ярославовом и стал неистовыми криками требовать скорейшего прочтения грамоты.

Новоизбранный дьяк веча, испросив благословения у владыки Феофила, поклонился во все стороны, поднял вверх руку и замахал

бумагой над шумевшей толпой.

Чтобы показать собою пример уважения к московскому князю, Феофил снял свой клобук и, наклонив голову, почтительно и внимательно слушал запись, но когда дело дошло до складной грамоты, лицо его побледнело, как саван, посадники невольно вздрогнули, а народ, объятый немым ужасом, не вдруг пришел в себя.

Марфа Борецкая, значительно переглянувшись со своими, первая вскочила со своего места:

– Ну, что скажете вы теперь, советные мужи Новгорода Великого? Прячьтесь скорей в подпольные норы домов своих, или несите Иоанну на золотом блюде серебряные головы чтимых старцев, защитников родины. Исполнились слова мои: опустились ваши руки. Кто же из вас будет Иудой-предателем? Спешите, пока все не задохлись еще совестью, пока гнев Божий не разразился над вами смертными стрелами.

– Напрасно ты нас упрекаешь, боярыня, в таких зазорливых делах. Пусть вражеский меч выточит жизнь мою, а я все-таки оста-

нуса сыном, а не пасынком моего отечества! – возразил ей тысяцкий Есипов.

– Честь тебе и слава! – отвечала Марфа. – Все равно умереть: со стены ли родной скатится голова твоя и отлетит рука, поднимающая меч на врага, или смерть застанет притаившегося... Имя твое останется незапятнанным черным пятном позора на скрижалях вечности... А посадники наши, уж я вижу, робко озираются, как будто бы ищут безопасного места, где бы скрыть себя и похоронить свою честь...

– Боярыня! – воскликнул гневно посадник Кирилл, предупредив своих товарищей, – честь такая монета, которая не при тебе чеканилась, стало быть, не тебе и говорить о ней. Теперь одним мужам пристало держать совет о делах отчизны, а словоохотливые языки жен – тупые мечи для нее...

Борецкая вздрогнула, но не вдруг ответила, стараясь подавить свое волнение:

– Давно замечала я, но теперь ясно вижу, в кого метят стрелы твои, Кирилл. Черный язык твой хочет закоптить и меня, чтобы унижением моим лишить Новгород всякой

опоры. Ты давнишний наветник Иоанна московского, ты достоин наград изменников Упадыша, Василия Никифорова и других злоумышленников против отчизны нашей... Кто из вас сохраняет еще любовь к бедной родине нашей, – обратилась она ко всему собранию, возвышая голос и окидывая всех вызывающим взглядом. – Допытайте этого неверного раба острием вашим и вышвырните им из него змею – душу его, а то яд ее привьется и к вам.

Кирилл вспыхнул.

– Славь Бога, – крикнул он ей, скрежеща зубами от ярости, – что ты далеко каркаешь от меня и руки мои не достигнут тебя, гордись и тем, что позволяет честное собрание наше осквернять тебе это священное место, с которого справедливая судьба скоро закинет тебя прямо на костер. Товарищи и братья мои, взгляните на эту гордую бабу. Кто окружает ее?.. Пришельцы, иноземцы, еретики... Кто внимает ей? Подкупные шатуны, сор нашего отечества.

– Заклепайте его в кандалы и швырните на разщипку копий и мечей! – кричала в

свою очередь Марфа, задыхаясь от злобы, своим челядинцам.

Ее крик был бы исполнен, если бы народ не уважал этого посадника, не раз доказывавшего ревностную приверженность отечеству.

Марфа, увидя, что слова ее не оказывают действия, умолкла.

Замолчал и Кирилл.

– Что нам теперь делать и с чего начать? – спросил тысяцкий Есипов.

Феофил, сидевший до сих пор с поникшей головой, поднял ее и проговорил:

– Сами виноваты вы; великий князь вправе обрушить на головы ваши мстящую десницу свою; смиритесь и дастся вам отпущение вины.

– Нет, владыко, твое дело молиться о нас, а не останавливать оружие наше! – возразили ему. – Иоанн ненасытен и меч его голоден, да мсковитяне зачванились уж больно: мы ли не мы ли! Кто устоит против нас? Посмотри: чья возьмет. Мы сами охотники до вражеской крови! Если не станем долго драться, то отвыкнем и мечом владеть.

Более благоразумные и рассудительные го-

ворили:

– Словами и комара не убьете! Где нам взять народа против сплошной московской рати? Разве из снега накопаем его? У московского князя больше людей, чем у нас стрел. На него нам идти все равно, что безногому лезть за гнездом орлиным. Лучше поклониться ему пониже.

– Да он и сожнет наши головы, как снопья снимет! Кланяться ему все равно, что вкладывать в волчью пасть пальцы! Лучше же с него шубку скинуть! – кричал народ, подстрекаемый клеветами Марфы, и перекричать разумных.

Запись московскую истоптали ногами.

По сборе голосов большинство оказалось за войну.

Тотчас начались быстрые приготовления.

Марфа торжествовала.

Народ вооружался, поголовные дружины набирались из разночинщины: плотников, гончаров, и других ремесленников одевали в доспехи волей и неволей и выставляли на стены.

Чужеземцам, промышленяющим торговлею

в городе, дозволяли выехать. И потянулись обозы во все ворота городские с товарами в Псков; но многие остались на старых гнездах, надеясь на милосердие Иоанна.

Река Волхов запрудилась многочисленными судами, с развевающимися цветными флагами, – ими хотели загородить реку, – и по берегам ее выдвинулись две высокие деревянные стены, за которыми и на которых делали укрепления.

Весь город день и ночь был на ногах: рыли рвы и проводили валы около крепостей и острожек, расставляли по ним бдительные караулы; пробовали острия своих мечей на головах подозрительных граждан и, наконец, выбрав главным воеводой князя Гребенку-Шуйского, клали руки на окровавленные мечи и крестились на соборную церковь св. Софии, произнося страшные клятвы быть единокорными защитниками своей отчины.

В списке жертв, обреченных на смерть, имя посадника Кирилла стояло первым, а потому друзья его упростили разобиженного и несговорчивого старика, соединясь с други-

ми, недовольными правлением, выбраться из Новгорода и явиться к Иоанну, что, как мы видели, он и сделал.

Архиепископ Феофил со священниками семи церквей и с прочими сановными мужами поехали на поклон и просьбу к великому князю по общему приговору народа, но когда посольство это вернулось назад без успеха, волнения в городе еще более усилились.

XVII. Ворон ворону глаз не выклюет

Вокружавших замок Гельмст лесах разъезжали рейтары фон Ферзена, наблюдая за появлением русских дружинников.

Вечерело.

Рейтары, перед возвращением своим в замок, расположились отдохнуть на поляне, граничащей с небольшой, но глубокой, уже начинающей замерзать рекой.

Начальствовал над рейтарами знакомый нам кривой Гримм.

Невдалеке от прочих сел он на голую скалу, глядевшую в воду.

На скале противоположной горы все более и более сгущались вечерние краски. Наступи-

ла та невозмутимая тишина природы, спутница ночи, которая на таких негодяев, как Гримм, производит гнетущее впечатление, давая мир и отраду людям лишь с чистым сердцем и спокойной совестью.

Черные думы витали надо головой привратника замка Гельмст: надо было скоро приводить, так или иначе, в исполнение свои гнусные замыслы.

Вдруг до его ушей донесся подозрительный шорох.

Гримм оглянулся пугливо, как оглядываются только преступники. Какая-то черная тень кралась между ним и отдохавшими рейтарами; вот она ближе, это человек, он крадется и вдруг останавливается против него.

– Кто идет? – крикнул среди тишины сторожевой рейтар и прицелился в пришельца.

Этот окрик освободил душу Гримма от обуявшего было его панического страха – как все негодяи, он был трусом.

Он быстро вскочил и пустился к незнакомцу. Глаза последнего блестели зеленым огнем среди ночного мрака.

Гримм невольно отступил.

– Кто идет?.. Стой! Ни с места! – раздались крики, и несколько человек с угрожающим видом бросились на пришельца.

– Русский, но не враг ваш! – отвечал незнакомец.

– А! Вот кстати... это соглядатай... Видно, шея у него соскучилась по петле, коли сам сунулся в наши руки, – закричали рейтары.

– Нет, прежде допросим, выпытаем, вымучим у него признание: далеко ли земляки его, сколько их, на кого они думают напасть, – прервал Гримм.

– Ну, говори же все начистоту, русский барон, а то сразу душу вышибем, – продолжал он, схватив незнакомца за грудь и трясая изо всей силы.

– Кто бы вы ни были, дворяне Божьи: благородные рыцари ливонские или верные слуги, выслушайте меня терпеливо. Я сам пришел отдаться вам в руки, что же вы озорничаете?

– Вон еще кто-то скачет? Загородите дорогу, снимите его с лошади копьем. Двое в ряд протянитесь цепью! Сам попадетсЯ в силки! Только этот, кажется, не хочет сам отдаться в

наши руки, – распорядился Гримм.

Не успел он договорить последних слов, как ловкий всадник успел уже увернуться от брошенного в него метательного копья и так сильно ударил напавшего на него рейтара тупым концом своего копья, что тот упал навзничь и лежал неподвижно, так как железные доспехи мешали ему подняться.

– Стой! Стой! Разве вы не видите, что это наш? – закричал торопливо Гримм на своих, которые, прикрывшись щитами, начали было наступать на отважного всадника.

– Кой черт, наяву или во сне я вижу вас, благородный рыцарь? Поднимите забрало, чтобы я более уверился. По осанке, вооружению и сильной руке я узнал вас: еще одна минута – и не досчитались бы многих из защитников моего господина.

– Не тебе, кривому сычу, с подобными тебе бродягами мочить разбойничьи мечи рыцарской кровью! – сказал гордо всадник, поднимая налечник своего шлема, и луч луны, выглянувший из-за облака, отразился на его блестящих латах и мужественном лице.

Рейтары узнали Бернгарда.

– Не гневайтесь, благородный рыцарь, что кривой сыч узнал прямого, – язвительно заметил Гримм.

– Не прогневайся и ты, если кстати будешь немой. Жаль только, что язык твой еще надобен мне. Не видал ли Гритлиха?

– Когда?

– Конечно, не вчера... Тогда еще ты был недалеко от него и твое ядовитое дыхание жгло благородного юношу, но теперь, недавно, не нагоняли ли вы его в окрестностях замка? Смотри, продажная душа, говори прямо. Не сложили ли вы труп его уже в ближайший овраг, или мой меч допросит тебя лучше меня.

Властный голос рассерженного рыцаря невольно подействовал на трусливого, но хитрого Гримма.

Он было оробел, но тотчас же сообразил, как искуснее отделаться от допроса. Он понял, что Бернгард разыскивает Гритлиха, чтобы под своей охраной препроводить его назад в замок. Это не входило в расчеты подлого слуги не менее подлого господина.

– Ни теперь, ни недавно не видал, но

утром, когда мы только что выехали дозорить русских, он попался мне навстречу, и, когда я спросил его о причине его удаления из замка, он сказал, что это делается им по приказанию нашего господина, поэтому я и не посмел остановить его, – без запинки соврал Гримм. – Однако, – продолжал он, понизив голос до шепота, – он признался мне, что идет разыскивать своих земляков. Какими запорами ни замыкай коня, он все рвется на свободу, а только пусти его разыграться – и хозяина не пощадит: копыт своих не пожалеет на него... Поверьте, благородный рыцарь, теперь его не догонишь, да и не стоит он вашего беспокойства.

Бернгард молчал, пристально глядя на Гримма, как бы взвешивая каждое его слово.

– Воротитесь-ка, – с ударением добавил последний, – вы уже помыкались, довольно порыскали день-деньской, а моя молодая госпожа, чай, соскучилась без вас... Поезжайте-ка утешить ее.

При этих словах несчастный отвергнутый юноша вздрогнул, судорожно стиснув рукоять своего меча, и тихо произнес:

– Ты кривишь своими устами!

Гримм уже готов был разразиться страшными клятвами, как вдруг пойманный незнакомец, смекнув, что ему надо поддержать начальника рейтаров, заговорил:

– Точно, я сам видел нового пришельца в нашу дружину из замка Гельмст...

– Это кто? – прервал его Бернгард.

– Это пленник русский, мы допрашиваем его, – отвечал Гримм.

– Ты сам – пленник золота, и, я думаю, нашел уже выкуп его жизни в его же карманах. Допроси-ка его при мне, теперь же! – повелительно сказал рыцарь.

– Я уже слышал, что вам нужно! – отвечал захваченный. – Если не верите, что я охотно предаюсь вам, то обезоружьте меня: вот мой меч, – говорил он, срывая его с цепи и бросая под ноги лошади Бернгарда. – А вот еще и нож, – продолжал он, вытаскивая из-под полы своего распахнутого кожуха длинный двуострый нож с четверосторонним клинком. – Им не давал я никогда промаха и сколько жизней повыхватил у врагов своих – не перечтешь. Теперь я весь наголо.

– А что это мотается у тебя? – спросил один рейтар, показывая на грудь.

– Это ладанка с зельем, – ответил пленник. – А почему теперь я весь отдаюсь вам, когда узнаете, то еще более уверитесь во мне. Собирайтесь большой дружиной, я поведу вас на земляков. Теперь у них дело в самом разгаре, берут они наповал замки ваши, кормят ими русский огонь; а замок Гельмст у них всегда как бельмо на глазу, только и речей, что про него. Спешите, разговаривать некогда. Собирайтесь скорей, да приударим... Я говорю, что поведу вас прямо на них, или же срубите мне с плеч голову.

– А где русские? – спросил его Бернгард.

– За рекой, влево, недалеко от леса...

– Знаю, знаю... Все ли ты кончил?

– Все, как перед Богом, все... Ничего не утаил...

– Довольно. Теперь ты более не нужен. Прицепите его к осине, или к нему самому привесьте камень потяжелее: ходчее пойдет в воду, не запнется... Повторяю, теперь он более ни на что не нужен, как лук без тетивы. Кто изменил своим, тому ничего не стоит продать

и нас за что ни попало...

Сказав это, Бернгард поворотил коня своего, прищпорил его и быстро помчался обратно, по направлению к замку.

– Снимай-ка ладанку свою. Вот это будет повыгоднее: дольше не износится, – сказал рейтар Штейн пленнику, подходя к нему с узловатой веревкой, на которой был прицеплен огромный тяжелый камень.

Незнакомец дико и злобно сверкнул глазами.

Гримм попробовал было вступить за него, помня его услугу перед рыцарем, но рейтары не соглашались оставить в живых пленника, и только случай неожиданно избавил его от смерти.

Вдруг ближний лес и вся поляна осветились ярким заревом.

– Это наши работают, сами на себя накликают, – проговорил незнакомец...

Зарево озарило его лицо.

– Ах, это ты, Павел, – вдруг вскричал Штейн. – Узнаешь ли ты меня, которого проворством своим и сметливостью избавил от русских у реки... Товарищи, а мы хотели

убить его! Да я бы отсек себе руку, если бы она поднялась на него!

Вместо смерти пленнику предложили принять участие в общей попойке, во время которой он особенно сошелся с Гриммом.

Затем все потянулись к замку.

Их путь освещало все увеличивающееся зарево.

XVIII. Спасение Гритлиха

Зарево мало-помалу потухало. Небо очистилось от облаков. Ночь вступила в свои права. Луна и звезда ярко заблестали на темно-синем небосклоне.

По вьющейся змеей лесной дорожке шел усталый Гритлих. Уже более суток бродил он по лесу без пищи и питья, измученный, изнуренный, но не голод, не жажда томили его, а разлука с Эммой. Он был одинок: только луна провожала его да верхушки деревьев, мерно качаясь, как бы приветствовали его при встрече.

Кругом царствовала томительная тишина, нарушаемая лишь однообразным журчанием горного ручья, пробиравшегося между скал, и

гулом ветра.

Наконец Гритлих остановился, видимо, не будучи в состоянии идти далее, выбрал себе отлогое место, окутался суровым плащом своим и заснул, убаюканный однообразными звуками природы.

Вскоре в лесу послышался топот копыт скачущих лошадей и смешанный людской говор, но крепко заснувший Гритлих, к счастью, не слышал ничего.

Луна, между тем, скрылась за надвинувшуюся на нее тучу, и пушистый снег хлопьями повалил на землю. Быстро засыпал он спавшего Гритлиха, так что его едва можно было заметить на земле.

Прибывшие всадники, плутовавшие долго по лесу, расположились отдохнуть невдалеке от того места, где сном непорочной юности покоился преследуемый ими юноша.

Они сняли с голов своих грузные шлемы, покрытые снегом, стряхнули свои латы и оружие и, собравшись в кучу, принялись опоражнивать свои дорожные фляги, ругая на чем свет стоит своего господина.

— Куда этот черт спрятал русского бродя-

гу? – заметил один из рейтаров Доннершварца.

– Туда, – отвечал другой, – где нам не найти его. Да и зачем искать, назад не воротили бы. Прихлопнуть бы его на месте, как комара, вот и все тут! И руки не обмочили бы в крови...

– Фриц никогда не промахнется. Он и иглу уколёт и ножны зарежет, – промолвил третий.

– Да ты и сам живая петля! – возразил Фриц. – Для тебя убить человека все равно, что орех щелкнуть.

– Что тут считаться, – сказал четвертый. – Никто из нашей братии, ливонцев, сколько ни колотил врагов, оскомины на руках не набил. Но меня что-то все сильнее и сильнее пробирает дрожь. Разведем-ка огонь, веселее пить будет.

– Ах, ты, зяблик! – заметил, смеясь, Фриц. – Завернись хорошенько в волчью шкуру да глотни еще из фляги. Душа мера: пей сколько хочешь! Ведь мы сегодня не мало отбили вина, которое везли в замок гроссмейстера для угощения его гостей.

– Нет, пить вино в потемках, что проку, –

сказал прозябший и чиркнул по острию своего меча кремнем; искры посыпались на подставленный трут.

Прочие побрели отрывать из-под снега хворост.

Костер вскоре запылал.

– Карл правду сказал, – слышалось замечание, – при огне пить поваднее. Ведь как душа-то разгорелась, теперь бы и рука славно бы расходилась...

– Подбавьте-ка, подбавьте! – слышались возгласы.

– Чего: вина из фляги или хвороста в огонь?

– И того и другого...

Огонь на самом деле стал было потухать, и мокрый хворост только потрескивал и дымился.

Хворосту кое-как нашли и подбросили.

Попойка продолжалась.

– Товарищи, хотите я разниму эту колоду на дрова! – воскликнул заплетающимся языком Фриц и указал рукой на спавшего, засыпанного снегом Гритлиха.

– Сам ты колода, – заметил Карл. – Это,

должно быть, зарезанный человек...

– Врете, вы оба пьяны, стало быть, не разглядите, – заметил один из рейтаров, сам на силу держась на ногах. – Это не колода и не зарезанный человек, а зверь. Дайте-ка, я попробую его копьём: коли подаст голос, мы узнаем, что это такое.

Копье сверкнуло, но владевший им, когда стал направлять свой удар, потерял равновесие и упал, при громком хохоте товарищей.

– Дайте-ка попробую я, – воскликнул Карл и пошел с поднятым мечом на Гритлиха.

«И волос с головы твоей не погибнет без Его произволения», – говорит святое писание.

Это исполнилось над беззащитным юношей.

По лесу вдруг раздались призывные возгласы.

– Сюда, сюда, братцы! Сметайте в них головы мечами, как вениками!

Пьяные рейтары были застигнуты врасплох.

Русские, тоже дозорившие своих врагов, заметя огонь и отправившись на него, добрались до пирующих, рассмотрели их число,

медленно подкралась к ним, захватили почти все покинутое ими оружие и, быстро окруживши их со всех сторон, начали кровавую сечу, заглушая шумом ударов вопли умирающих о пощаде.

В те суровые времена битвы были жестоки – брать в плен не было в обычае.

Скоро снег, орошенный кровью, заалел и земля покрылась трупами.

– Четверо наших и все десять немчинов пали! – сказал один русский воин Ивану Пропалому, рассматривая тела убитых.

– А вот еще живой! – добавил подошедший другой воин, таща за собой полуживого рейтара. – Он хотел было улизнуть, да я зашиб его.

С этими словами он приставил меч к груди рейтара.

Иван остановил его.

– Оставь его, надо его допросить, а то мы и так сторяча всех перебили, надо хоть двоих оставить в живых для допроса порознь.

– Дело, дело! Ладно, ладно! – поддержали Ивана остальные дружинники. – Ну, немчин проклятый, рассказывай же, куда вы путь

держали и откуда? Тогда мы тебя отпустим, а не то пришибем живо.

Несмотря на угрозы, они насилу могли допытаться у ослабевшего от ран пленника, что он послан был владетельным рыцарем Доннершварцем в погоню за бежавшим из замка Гельмст русским; что старый гроссмейстер фон Ферзен готов уже напасть на них и отмстить им за соседей; что он уже соединился со всеми вассалами своими и соседями и что число их велико.

– А много ли их? – спросил один дружинник.

– Стыдись спрашивать, много ли числом врагов! – возразил Иван. – Мы не привыкли считать их. Узнай только, где они! Теперь не трогайте же, отпустите его, – продолжал он. – Сохраните новгородское слово свято. Ведь он далеко не уйдет. Прощай, приятель, – обратился он к пленнику. – Если увидишь своих, то кланяйся и скажи, что мы рады гостям и что у нас есть чем угостить их; да не прогневались бы тогда, когда мы незваными гостями нагрянем к ним. В угоду или не в угоду, а рассчитывайся, чем попало.

Пропалый отошел.

– Однако огонь-то надобно погасить, а то мы можем преждевременно накликасть на себя кого-нибудь, – заметили оставшиеся дружинники и кинули на догоравший костер раненого.

Через несколько минут он умер в судорожных корчах.

Захватив оружие и одежды вражеские и погнав перед собой коней их, веселой толпой тронулись русские в свой лагерь делить добычу.

Месяц уже побледнел при наступлении утра и, тусклый, отразившись в воде, колыхался в ней, как одинокая лодочка. Снежные хлопья налипли на ветвях деревьев, и широкое серебряное поле сквозь чащу леса открывалось взору обширной панорамой. Заря играла уже на востоке бледно-розовыми облаками и снежинки еще кое-где порхали и кружились в воздухе белыми мотыльками.

Гритлих, или лучше отныне будем называть его настоящим русским именем – Григорий наконец проснулся и открыл глаза. Он не слышал почти ничего происходившего вокруг

него в эту ночь. Усталый до крайнего истощения сил, он спал, как убитый. Звуки голосов и оружия, правда, отдавались в его ушах, но как бы сквозь какую-то неясную, тяжелую дремоту, и не могли нарушить его крепкий сон.

Открыв глаза, он огляделся кругом и с удивлением увидел груды мертвых тел, обломки оружия и вившийся к небесам дым потухшего костра и, наконец, свою одежду, всю опущенную снегом.

Он вскоре прозяб, поспешно встал, отряхнулся и не сразу вспомнил, где он и что означает все его окружавшее.

Мысль об Эмме снова появилась в его уме и снова отуманила его. Он понял, впрочем, что каким-то чудом избежал опасности, и благоговейно опустился на колени, забывшись на несколько минут в теплой благодарственной молитве Всеблагодарному Творцу.

Окончив молитву, он пошел далее и, выбравшись из лесу, вскоре оставил его далеко за собой.

XIX. Среди земляков

Зима соткала одежду природы из снега, как из белой кисеи; хлопья его легли на землю тонкими кружевами, солнце увенчивало небо, алмазные блески снежинок сверкали то белыми, то рубиновыми искорками. Лило-вые облака окаймляли небо, а на западе свивались шатром.

Картина полной зимы впервые в этом году разворачивалась перед взором: огненные деревья, подернутые серебристым инеем, блистали своей печальной красотой. Особенно сосны и рогатые ели, так величаво и гордо раскинувшие свои густые ветви, выделялись среди белизны снега своим черно-сизым цветом и, не шевелясь, казалось, дремали вместе со всей природой.

Кругом царил тишина, Григорию на пути попадались только белогрудые сороки, да вороны, привольно разгуливавшие по первой пороше, но спугнутые его приближением, они с диким карканьем взвивались на воздух и, уносясь, рябели вдаль, мелькая своими крыльями.

Случайно Григорий пошел прямо на русский лагерь.

Чурчила с Дмитрием, услыхав от Пропалого о намерении ливонцев напасть на них, заторопили дружинников идти в поход и, таким образом, предупредить врагов.

Усиленная работа кипела в лагере.

Иван Пропалый первый заметил приближающегося Григория и с изумлением воскликнул:

– Это кто еще выступает прямо на меня?

– На ловца и зверь бежит! – сказал Чурчила, подходя к нему с Дмитрием.

Несколько дружинников бросились было на незваного гостя, но твердая его поступь, смелый добродушный вид, а главное, наказ Чурчилены не трогаться с места остановили их.

Григорий все приближался.

Каким трепетом забилося его сердце, когда он разглядел своих земляков, узнав их по одежде и вооружению, которые еще со времени раннего детства запечатлелись в его памяти. Шишаки, кольчуги, узловатые кистени, в кружок обстриженные волосы, русский язык, еще памятный ему, – все это было перед ним.

Он не мог дойти до Чурчилы, Ивана и Дмитрия, молча ожидавших его. Чувство сладкое, невыразимое, никогда им неизведанное наполнило его сердце, ноги его подкосились, он упал на колени, протянул руки по направлению к лагерю и зарыдал.

«Вот кого искали ливонцы, – подумали про себя Чурчила, Иван и Дмитрий. – Под щитом неба прошел он невредимо сквозь тысячу смертей! Это «русский, это «брат, это «земляк наш!»»

Они подошли к нему и, не спрашивая его о роде и племени, открыли ему свои объятия.

Вся дружина приняла его с выражением радостного восторга.

Когда желанный гость отдохнул, утолил свой голод и жажду в кругу близких его сердцу людей, при звуках чоканья заздравных чар и братин, все сдвинулись вокруг него и он рассказал им, насколько мог, о житье-бытье своем в чужой ливонской земле, упомянул об Эмме и умолял спасти ее от злых ухищрений Доннершварца и его сообщников.

Чурчила и многие другие тотчас догадались, кто был этот бесприютный юноша, но

не сказали ему ничего, чтобы не прибавить к свежим ранам новых.

Они обещали ему во что бы то ни стало добыть мечом головы заклятых врагов его и Эммы.

– Куда же ты денешь свою возлюбленную, когда мы выхватим ее из замка, как самую ценную добычу? – спросил его Чурчила.

– Куда?.. Отвернусь от нее и отдам ее возлюбленному! – отвечал Григорий.

– Как бы не так! – возразил Иван. – Это не по-моему. По-моему, так не доставайся никому: расколел бы ей череп, да и отдал бы ему.

– Вестимо, на что же и добывать ее?

– Кровь да золото, вот что тянет нас на битву, – слышалось замечание.

Григорий молчал, но взгляд его был красноречивее слов.

– Хочешь ли ты идти туда вместе с нами? – вдруг спросил его Чурчила после некоторого раздумья.

– Жизнь и смерть готов я делить с тобой... Но я изгнанник...

– Что же? Ведь мы не в гости пойдём. Ты будешь только охранять девицу и отражать

удары, направленные на нее... Тебе жизнь постыла, мне также, – выразительно добавил Чурчила. – А кто за чем пойдет, тот то и найдет. Понимаешь ты меня?

– Да что его спрашивать? Он наш, на Руси родился, стало быть, должен любить с малолетства меч и копье, а не бабье веретено. Разве иная земля охладила его ретивое, – с видимым неудовольствием заметил Дмитрий.

– Братцы! – отвечал Григорий, схватив их за руки, – если бы я был ливонцем и вы бы пришли за мной вести расчет оружием, любо бы было мне потешиться молодецкой забавою. И тогда, Бог весть, чья сторона перетянула бы! Или, к примеру сказать, когда бы я с вами давно был однополчанином и мы пришли бы вместе сюда на врагов, – не хвастаюсь, а увидали бы вы сами, пойду ли я на попятную.

Глаза его, воодушевившись мужеством, загорелись.

– Гляньте-ка, братцы! – воскликнул радостно Прошлый, указывая на Григория, – так и пышет весь отвагой! Я готов спорить на что угодно, что не кровь, а огонь льется в его жи-

лах...

– Я не договорил еще, – продолжал Григорий. – Чужая земля воспитала круглого сироту и была его родиной, чужие люди были ему своими, и подумайте сами, должен ли он окропить эту землю и кормильцев своих собственной их кровью? Не лучше ли мне на нее пролить свою, неблагодарную? Разве вы, новгородцы, выродились из человечества, что не слушаете голоса сердца?

Многие были тронуты его речью и молчали, внутренне соглашаясь с ним, но со стороны некоторых послышался громкий ропот.

– Брат Григорий, – начал Чурчила после продолжительной паузы. – Всякий, кто чувствует в себе искру чего-то... небесного... как бы это пояснить... я красноглаголить не умею, а прямо скажу: кто называется человеком, у того и тут должно быть человеческое.

Он указал на сердце.

– Мы понимаем тебя! – продолжил он. – У нас тут кроется и любовь, и отвага, и жалость, и сердоболие, а кто не чувствует в себе того, тот пусть идет шататься по диким дебрям и лесам со злыми зверьми. Ты наш! Мы осво-

бождаем тебя от битвы с твоими кормильцами и даже запрещаем тебе мощным заклятием. Пойдем с нами, но обнажай меч только тогда, когда твою девицу обидит кто словом или делом.

Он крепко сжал руку Григория.

– Я ваш! – вскричал последний, обнимая Чурчилу.

– Ну, живо! Радуйтесь, товарищи! Пойдем на коней! Настало времечко на смертное раздолье, – отдал приказ Чурчила.

Не прошло и минуты, как все уже были на конях.

– Не лучше ли напасть ночью, – заметил Дмитрий, – а днем подождать в засаде?

– Нет, не утаим и не схороним славы своей под мраком ночи. Пока дойдем, пока что еще будет, сумерки и спустятся, – возразил ему Чурчила.

– А где же Пропалый? – спросил он, – да еще кое-кто из наших дружинников пропали Бог весть куда?..

Все были уже в сборе, но Ивана и еще некоторых из дружинников не было. Никто не мог придумать, куда они могли отшат-

нуться от своих.

Вдруг увидали они небольшую толпу, скакавшую прямо на них.

Сначала они подумали, что это был Пропалый с товарищами, но, взглядевшись, увидали, что это были ливонские рейтары, неприязненно направлявшие на них свои копыя.

Русские бросились им навстречу, но вдруг услышали громкий хохот.

Враги подняли свои наличники и русские отступили.

Это был Иван с дружинниками, перенаряженные в платье и доспехи ливонские, отбитые у них в ночную схватку.

– Причудник... ишь что придумал... Теперь ты нам чужак.

– Что, не узнали... это я и хотел узнать. Теперь смело пойду прежде вас в замок Гельмст... Там привольно будет.

– Зачем же ты хочешь идти прежде нас?... Смотри, подстрелят!

– Пойдем к живым на поминки... а вам до этого дела нет... Дождитесь, когда я посвечу вам с башен замка и неситесь скорей доканчивать... да помните еще слово «булат».

Сказав это, Пропалый с товарищами повернули коней и ускакали.

– Вперед и мы, товарищи! – крикнул Чурчила, вонзая шпоры в крутые бока своего коня.

Было уже раннее утро. Солнце рассыпало свои яркие, но холодные лучи и играло ими в граненых копьях русских дружинников.

Дружина сомкнулась и тронулась...

XX. Ряженые в замке

Слова Чурчилы сбылись. Уже смеркалось, когда отважные русские дружинники, переряженные рыцарями, приблизились к замку Гельмст.

Близ замка господствовало необычайное оживление; около подъемного моста несколько рыцарских отрядов ожидало спуска.

– Люблю поля вражеские! – воскликнул Иван Пропалый. – Ну, братцы, чур, теперь слушать чутко, глядеть зорко... Если нас не узнают, то мы в одно ухо влезем, а в другое вылезем из замка, а если дело пойдет наоборот, зададут нам передрагу, хорошо, если убьют, а то засадят живых в холодильник.

Он указал рукой на проруби окрестных озер.

– Что делать?.. На то пошли! Сами вызвались, – слышались ответы.

– Авось, живые в руки не дадимся! – продолжал Иван. – Нас здесь одиннадцать, постоянно часок стеной непробивною.

– Вестимо! Однако у них, собак, стены-то несокрушимы: ни меч, ни огонь не возьмет их! – заметил один из дружинников.

– И соседей собралось на подмогу им число не малое... Вишь, каким гоголем разъезжает один! Должно, их набольший! – заметил другой, указывая на одного плечистого рыцаря, который осматривал стены, галопируя около них на статном иноходце.

– Ну, с Богом! Мать Пресвятая Богородица и заступница наша святая София, помогите нам, многогрешным! – с благоговением произнес Иван Пропалый, въезжая в толпу ожидавших рейтаров.

– Здорово, ребята! – приветствовали последние новоприбывших. – Не видали ли вы русских? Говорят, будто они бежали из нашей земли. Знать, солоно, или вьюжно пришлось

им. А впрочем, кто их знает, где они разбойничают.

– Как не видеть! – отвечал Иван. – Мы не мало гнались за ними и общипали у них кое-что из награбленной добычи.

При этих словах Пропалый вынул из-за рукавника серебряную опояску с крупными алмазами, которую он еще ранее отнял у одного рыцаря при нападении на его замок, показал ее своему собеседнику и спрятал снова.

– Хоть и темно, но я и впотьмах всегда увижу хорошую вещь, – произнес рейтар с блестящими от зависти глазами.

– А ты от кого же слышал, что русские бежали? – спросил Иван.

– Мы захватили их прежде, да не добились до сих пор никакого толка, а вчера сам пришел к нам какой-то Павел, бывший при их начальнике телохранителем, начальник-то его, видишь, чем-то обидел, ну, он и бежал к нам и взялся навести нас на русское гнездо. Объяснил по приметам, да по зарубкам деревьев, где оно находится. Наши смельчаки ездили разузнавать, правда ли это, и недавно возвратились и сказывали, что и впрямь там

были русские. Они видели на том месте изломанное оружие, а от большого костра вился еще дымок, так что надо полагать, что они недавно покинули это место! – отвечал рейтар. – Видно, трусили, узнали, пройдохи, что мы на них поднялись, да и всполошились.

– А Павла этого, что же вы, чай, притянули за шею...

– Нет, за что же? Он в чести теперь у нас. Завтра, чуть свет, выступят отыскивать беглецов... Слышишь, какой говор в замке? Все уже в сборе. Ныне последнюю ночь проведем повеселее, да и в поход.

Раздался звук рога, возвещавший спуск моста. Цепи благополучно въехали со спущенными забралами в широко отворенные ворота замка Гельмст.

На дворе замка стоял несмолкаемый говор, рейтары ходили толпами: кто держал лошадиную узду и побрякивал ею, кто вел поить лошадь или уже упившегося своего товарища на успокоение.

Ржание коней, бряцание оружия, рассказы, окрики, споры, хохот и брань – все сливалось в странный своеобразный гул.

Иван Пропалый с товарищами поставили своих лошадей в общие стойла и, незаподозренные никем, пошли осматривать замок.

На задней его части, выдававшейся острым утесом в глубокий овраг, огибавший стену, из которой камни от действия времени часто отрывались и падали в глубину, находилось отверстие, из которого дружинники заметили вышедшего человека, окутанного с ног до головы широким плащом, несшего что-то под мышкой; за ним вскоре вышли еще несколько человек, которые вместе с первым прокрались, как тати, вдоль стены.

Иван ощупал это отверстие и нашел в нем железное замерзлое кольцо, вбитое в медную доску. Он насилу приподнял ее и ощупал чугунные ступени, ведущие вниз, хотел только что спуститься, но остановился, услышав сзади голоса, и захлопнул доску.

Притаившись вместе с товарищами в расщелине стены, они стали наблюдать...

Черные тени возвращались, что-то бережно неся на руках, передний поднял доску, и все они вместе с ношей на глазах дружинников спустились вниз и захлопнули за собой

творило.

«Что за дьявольщина?» – подумали с недоумением дружинники.

– Это дело надо разузнать, тут что-то неладно, – решил Пропалый.

* * *

В обширной приемной комнате или рыцарской зале фон Ферзена происходило, между тем, многочисленное собрание.

Стены комнаты были увешаны дорогими козылбатскими коврами, на них висели огромные рыцарские доспехи в полном наборе, производившие на первый взгляд впечатление повешенных рыцарей.

В одном углу стоял стол, покрытый медвежьей шкурой, на которой лежал большой гроссмейстерский жезл, обвитый широкой золотой тесьмой.

В другом углу навалены были горой шлемы, а в противоположном от него углу пылал огромный камин, один освещавший обширную комнату и сидевших за большим стоявшим посередине столом рыцарей.

Стол был весь уставлен вином и грубой за-

кусковой, соленой рыбой, копчеными окороками свинины и черствым хлебом.

Попойка была в полном разгаре и шла уже к концу, что было заметно по опустевшим флягам и блюдам, а также по раскрасневшимся лицам рыцарей.

Фон Ферзен сидел среди своих гостей и союзников, молча, с опущенной вниз головой; невдалеке от него находился тоже не принимавший участия в пиршестве, печальный Бернгард.

– Ну, славно попиrowали, так что не осталось теперь чем мух накормить! – сказал один рыцарь и встал из-за стола.

За ним последовали и другие.

– Да что это гроссмейстер повесил голову, как дохлая лошадь? Неужели он так сильно запуган кольчужниками, что и нас, своих защитников, ни во что не ставит, – спросил один рыцарь другого.

– Нет, видишь, он тоскует о пропаже дочери, которая, как рассказывает Доннершварц, бежала с его приемышем-русским на его отчизну.

Спрашивающий рыцарь замолчал, как бы

делая вид, что это его не касается, а третий, вмешавшись в разговор, заметил:

– Только-то? А я думал, что уже не ограбили ли его русские?

– Муншенк! – послышался пьяный голос из-за стола. – Подайте мне еще выпить за долголетнее существование храбрых меченосцев во все грядущие века.

На этот призыв откликнулись многие. На столе появились принесенные слугами новые фляги и даже бочонки: пьянство началось с новой силой, и вскоре многие из храбрых меченосцев позорно валялись под столом.

Другие, более крепкие, шатаясь из стороны в сторону, бродили по зале, изрыгая проклятия на русских и угрожая им неминуемой гибелью от славных рыцарских мечей.

Убитые горем фон Ферзен и Бернгард не могли удержаться, чтобы порою не бросить презрительных взглядов на этих, окружавших их, бесстрашных победителей фляг и бочонков.

XXI. За славу, за Эмму!

В столовую вошел Доннершварц и, окинув своими посоловелыми глазами присутствующих, подошел к фон Ферзену.

— Я всем распорядился, — заговорил он сильным басом. — Не бойтесь, мы настигнем их завтра и вдоволь насытим наши мечи русской кровью. О, только попадись мне Гритлих, я истопчу его конем и живого вобью в землю. Дайте руку вашу, Ферзен! Эмма будет моей, или же пусть сам черт сгребет меня в свои лапы.

При этих словах Бернгард вздрогнул и, вскочив с места, схватился было за меч, чтобы наказать хвастуна, но, как бы одумавшись, презрительно смерил его с головы до ног и сел снова.

Фон Ферзен, как бы пробужденный надеждой на отмщение, воскликнул, сверкая глазами:

— О, только попадись он мне: я сам собственными руками разорву его на части. Друзья, верные союзники мои, — обратился он к присутствующим, — я разделяю между вами

все свои владения и богатства, добудьте мне Эмму, мою дочь, или проклятого Гритлиха... О, если бы обоих вместе! Я даже не знаю, что лучше!.. Эмму я люблю всем сердцем и без нее не утешусь... но его... его мне хочется посмотреть умирающим в предсмертных корчах, когда я сам буду по капле выпускать его подлую кровь... О, какое наслаждение! Эмму, повторяю, получит храбрейший! Отомстите же за славу, за Эмму, за меня...

– За славу, за Эмму, за гроссмейстера! – раздались крики, и все повскакали со своих мест, неистово махая обнаженными мечами.

Доннершварц со злобной, язвительной улыбкой посмотрел на Бернгарда. Последний вспыхнул, подошел к фон Ферзену и сказал, обращаясь ко всем:

– Выслушайте меня! Они любят друг друга, разлучить их, значит, убить обоих... Мое мнение: настичь русских, дать битву, захватить Эмму и Гритлиха и...

Бернгард остановился, ему, видимо, тяжело было окончить начатую фразу.

– И что же с ними делать? – слышался вопрос.

– И соединить их! – твердо произнес благородный юноша.

Взгляд фон Ферзена дико блеснул.

Остальные даже отступили от Бернгарда в изумлении...

– И соединить их! – повторил тот, как бы наслаждаясь тем сердечным мучением, которое доставляла эта фраза.

– Замолчи, или я сочту тебя злейшим врагом моим, – сдавленным голосом сказал ему фон Ферзен. – Он всего меня лишил, а ты что предлагаешь мне...

– Бернгард насмехается над фон Ферзеном, – перешептывались рыцари между собой.

– Я бы вырвал с корнем язык его, чтобы он не оскорблял благородного рыцарства! О, я бы сумел научить его уважать и седины, – заговорил было вслух Доннершварц.

Бернгард не дал ему окончить угроз, бросился на него с мечом но, вдруг одумавшись, откинул меч в сторону и, выхватив из камина полено, искусно увернулся от удара противника, вышиб меч из рук его и уже был готов нанести ему удар поленом по голове, но фон

Ферзен бросился между ним и Доннершварцем, да и прочие рыцари их разняли и разведали по углам.

После обоюдных угроз поссорившихся и громкого хохота рыцарей над Доннершварцем на тему, что его бьют поленом, как барана, ссора утихла и мир водворился.

Фон Ферзен, ободренный перспективой мести, стал веселее и начал усиленно заливать свое горе вином.

Последнее развязало ему язык. Он начал мечтать вслух, как они завтра настигнут русских и потешат свои мечи и копья над вражескими телами.

– Пленник Павел рассказывал нам, что эти новгородцы – народ вольный, вечевой... Их щадить нечего. Они хоть и богаты, а выкупу от них не жди... разве только нового набега, – заметил один из рыцарей.

– Да, кстати, я вспомнил о пленниках – где они? – произнес фон Ферзен. – Петерс, – обратился он к своему слуге, – вели их ввести сюда, сделаем последний допрос и пора с ними разделаться.

Петерс вышел.

– А что нас остановит пуститься и далее? Мы соберемся еще большим числом и нагрянем прямо на Новгород. Государь Московии, поговаривают, сам хочет напасть на него. Тем лучше для нас: мы будем отгонять скот от города, отбивать обозы у москвитян, а если ворвемся в самый город, то сорвем колокол с веча, а вместо него повесим опорожненную флягу или старую туфлю гроссмейстера, пограбим, что только попадетсЯ под руки, и вернемся домой запивать свою храбрость и делить добычу, – хвастался совершенно пьяный рыцарь, еле ворочая языком.

Его речь приветствовали аплодисментами, но один Бернгард усмехнулся и возразил:

– Что-то давно мы собираемся напасть на русских, но, к нашему стыду, до сих пор только беззаботно смотрим на зарево, которым они то и дело освещают наши земли... Уж куда нам пускаться в даль... Государь Московии не любит шутить, он потрезвее нас, все говорят...

– Не верь, не верь, что говорят... Мы сами тебе не верим! – прервали его пьяные крики.

Бернгард обвел присутствующих презри-

тельным взглядом и замолк.

Через несколько минут раздался звон цепей, и сторожа ввели в залу изнуренных русских пленников.

Их было шестеро, они были крепко скованы по рукам и ногам и, видимо, с трудом влачили свои тяжелые цепи.

Их выстроили в ряд перед сидевшим за столом фон Ферзенем.

– Вы новгородцы? – спросил их последний.

– Новгородцы.

– А зачем пришли вы к нам?

– Умереть или убить вас.

– Черт возьми, что тут выпрашивать? Скорей уничтожить это русское отребье! Неужели и этих откармливать на свою шею, – громко проговорил Доннершварц.

– Да, пора бы, мы вам не нужны! – отвечали хладнокровно пленники.

Фон Ферзен, которому намек Доннершварца напомнил о Гритлихе и мести, яростно воскликнул:

– Да, конечно, затравим их нашими медведями, потешимся напоследок кровавым зрелищем.

– Не рыцарское это дело, фон Ферзен, – громко запротестовал Бернгард, – я, по крайней мере, до последней капли крови буду защищать беззащитных.

Фон Ферзен почти с ненавистью посмотрел на говорившего. В зале раздался недовольный ропот, но к чести рыцарей надо все-таки сказать, некоторые, хоть и немногие, присоединились к мнению Бернгарда.

Не желая начинать раздора, фон Ферзен сделал незаметный знак Доннершварцу.

Тот понял его, и на губах его заиграла злобная улыбка.

Пленников увели по приказанию хозяина, а за ними вышел из залы и Доннершварц.

Через несколько минут со двора замка донесся глухой короткий стон – другой, третий, до шести раз.

Все догадались, что это значило.

Бернгард в ужасе пожал плечами.

Вздрогнул и сам фон Ферзен.

С самодовольной улыбкой вернулся вскоре в залу Доннершварц, весь обрызганный кровью, и спокойно осушил кубок, словно забыв, какое страшное поручение он исполнил.

Раздался звон колокола, жалобным звуком раскатившийся по всему замку, означавший полночь.

Камин погасал.

Немногие рыцари, еще державшиеся на ногах, собрались в кучу и стали обсуждать последние подробности предстоящей экспедиции и, чокнувшись, выпили еще и опрокинули свои кубки в знак окончания пира и заседания.

– За славу, за Эмму, за гротсмейстера! – раздавались крики.

– Куда же?.. На лошадей? – спросил фон Ферзен, увидя, что многие расходятся.

– Нет, сперва в постели. Рог разбудит нас, – отвечали ему...

– Так до завтра.

– До утра...

Все разошлись. Фон Ферзен ушел в свою спальню вместе с Доннершварцем.

Бернгард вышел из замка и прошел в парк.

Он сам не мог понять волновавших его чувств... но ему хотелось и плакать и молиться, а главное – быть одному...

XXII. В подземелье

Пока рыцари с усердием и отвагой, достойными лучшей цели, опустошали содержимое погребов фон Ферзена, русские молодцы в рыцарских шкурах тоже не дремали.

– Братцы, – говорил товарищам Пропалый, стоя над загадочным творилом, куда на их глазах скрылась таинственная процессия, – мы взбирались на подоблачные горы и на зубчатые башни, но не платились жизнью за свое молодечество, почему бы теперь не попробовать нам счастья и не опуститься вниз, хотя бы в тартарары? Я, по крайней мере, думаю, что нам не найти удобнее места, где бы мы могли погреться вокруг разложенного огня, да кроме того, мы разузнаем, кто эти полуночники. Лукавый их ведает, что у них на уме? Может, они для нас же готовят гибель!

– Мы готовы, идем хоть на край света! Веди нас хоть туда, куда и орел не нашивал добычи, где конец странствия облаков, мы за тобой всюду, – отвечали ему дружинники.

Осторожно подняли они чугунную доску, и ощупью один за другим начали они спускаться-

ся в подземелье.

Чутко прислушиваясь на каждом шагу, они медленно спускались все ниже и ниже.

Кругом внизу царила гробовая тишина.

Страшная сырость и спертый воздух затрудняли дыхание.

Наконец они почувствовали под ногами вместо камней сырую землю – лестница кончилась. В подземелье было совершенно темно. Вытянув перед собой руки и ощупывая мечами впереди себя, храбрецы двинулись среди окружавшего их могильного мрака.

Мечи рассекали только воздух.

Вскоре, впрочем, один из дружинников встретил своим мечом стену. Шедшие повернули вправо и увидали вдали слабое мерцание огонька.

Дружинники пошли на огонек, и скоро до них стали доноситься голоса людей.

При слабом освещении смоляного факела, который держал один из четырех находившихся в подземелье людей, наши храбрецы, приблизившись к ним, рассмотрели тяжелые своды стен и толстые столбы, подпиравшие закопченный потолок.

За последними скрылись они, чтобы быть незамеченными до времени и стали прислушиваться к разговору неизвестных. Одного из них, впрочем, они вскоре узнали по голосу.

Это был – Павел.

– Ну, Гримм, теперь все кончено! – говорил он. – Девушка в наших руках... Что же медлит и не идет рыцарь?

– Ты молодец хоть куда, парень не промах, – отвечал Грамм. – Только доделывай начатое, тогда рыцарь наградит тебя...

– Удавкой, как бешеную собаку; знаю я вас... но вот, кажется шпоры... Это он...

На самом деле, другой факел еще более осветил присутствующих в подземелье.

Его нес оруженосец Доннершварца.

За ним шел и сам он, пошатываясь на каждом шагу.

– Ну, что... добыли ли? – рявкнул он, обращаясь к Павлу.

– Наше слово свято, – отвечал тот, указывая рукой на дверь, видневшуюся в глубине, и повел его к ней.

– Ну, Гримм, черт возьми, – ворчал, следуя за ним, Доннершварц, – нашел же ты местеч-

ко, куда спрятать ее. Видно, ты заранее при-
выкаешь к аду...

– Привыкнешь! – лаконически и лукаво от-
вечал Гримм.

Пропалый подал знак своим, и дружинни-
ки погнались за ушедшими.

Павел с шумом отодвинул железный засов.
Чугунная дверь, скрипя на ржавых петлях, от-
ворилась.

В низкой, тоже со сводом комнате, отде-
ленной от подземелья полуразрушенной сте-
ной, висела лампада и тускло освещала убо-
гую деревянную кровать, на которой, каза-
лось, покоилась сладким сном прелестная, но
бледная, как смерть, девушка.

Шелковый пух ее волос густыми локона-
ми скатывался с бледно-лилейного лица на
жесткую из грубого холста подушку, сквозь
длинные ресницы полуоткрытых глаз прогля-
дывали крупные слезинки...

Увы! Это был не сладкий сон, а глубокий
обморок.

Доннершварц бросил на нее плотоядный
взгляд, но приблизившись воскликнул:

– Черт возьми, да это не. Эмма! Это ка-

кой-то обглодыш. Жива ли она?

На самом деле Эмма – это была она – исхудала до неузнаваемости. Павел наклонился над лежащей.

– Еще дышит этот живой остов... Она не скоро умрет и здесь, а на свежем воздухе и по-давно... Бабы живучи, а это только с их бабьего придурья...

– Но что с ней сделалось...

– Что?.. Испугал я, как, выманивши ее голосом Григория и схватив в охапку, потащил с собой... Сперва она завопила: – Гритлих, Гритлих, где ты?

– Подожди, с того света он придет за тобой, – сказал я ей. – С тех пор она и не двинулась.

Но Эмма шевельнулась, или, скорей, вздрогнула от холода и сырости воздуха, которым было пропитано подземелье.

Доннершварц, стоявший немного поодаль от кровати и пожиривший свою жертву жадными взглядами, сделал уже шаг вперед с распростертыми, как бы для объятий, руками.

– Не терпится более! – шепнул Пропалый и хотел уже кинуться на него, но у несчастной

девушки нашелся другой невидимый хранитель.

С потолка оторвался тяжелый камень и упал между ней и Доннершварцем.

Негодяй испугался и отступил.

– Перестаньте, благородный рыцарь, – начал Гримм с чуть заметной иронией в слове «благородный», – разнеживаться теперь над полумертвой... Что тратить время по пустякам. Она от вас не уйдет. Идите-ка лучше собирать в поход своих товарищей и когда они все выберутся из замка, мы с Павлом перенесем ее отсюда к вам. Вы, проводив рыцарей, не захотите марать благородных рук своих в драке с русскими и вернетесь домой... Там вас будет ожидать Эмма и мы с нашими услугами.

– Да, да, пусть сам черт заступается за нее, но она будет моей, – воскликнул Доннершварц. – А теперь я на самом деле пойду, – добавил он, уже дрожа от страха.

Предшествуемый оруженосцем с факелом, он ушел. Гримм с Павлом и двумя подкупленными злодеями остались одни.

– Ну, а мы что?.. Улепетнем тоже отсюда, –

заговорил Гримм, когда звуки шпор умолкли вдали.

– Скоро утро... несподручно... Да еще вот что мне сомнительно: куда девались мои земляки? Я знаю Чурчилу, как самого себя: он не убежит, разве что в другом месте рыскает за добычей, – отвечал Павел.

– А нам что до них? Этого чугунного рыцаря Доннершварца заведем мы в глушь, а там...

Гримм сделал выразительный жест рукой.

– Нет, пусть они уберутся завтра, а мы разгромим кладовые и отправимся в надежное местечко... Ведь мы с тобой одной шерсти, небось, уживемся везде...

– А эту полуживую девчонку похороним здесь! Я не намерен делать угодное Доннершварцу.

– И теперь же! Неужели же дожидаться ее смерти? Может, она еще и за горами...

– А у вас за плечами! – крикнул Иван Пропалый, и бросился на них.

Дружинники последовали за ним.

Павел ускользнул, воспользовавшись суматохой.

Гримм пырнул ножом одного русского, но сам пал под узловатым кистенем Пропалого. Двое других тоже были убиты.

Побоище кончилось и все умыслы злодеев рассеялись прахом.

– Куда же девался этот искарлотский Павел? – спросил один из дружинников, отирая свой окровавленный меч.

– Поищем и его, но прежде надобно сделать расправу с этой падалью! – отвечал Пропалый, указывая на мертвых и шевелившегося посреди них Гримма.

– А, прикинулся! А, кажись, удар был верен, без промаха!.. Чу, отдыхает, силится сказать что-то! – промолвил другой дружинник, наблюдая за Гриммом.

– Возьмите вот тут... у меня за поясом все, что найдете, – прерывистым голосом заговорил последний, – только не добивайте меня!

– Эк, что сморозил! Да мы и без того оберем тебя, – заметил Иван, обыскивая его, и, нащупав в указанном месте большую кису, вытащил ее и радостно воскликнул. – Правда, эта собака стоит того, чтобы задать ему светлую смерть!

В эту минуту Эмма очнулась, приподнялась и смотрела на всех мутными, но не испуганными глазами.

Иван Пропалый подошел к ней и помог ей встать.

Она продолжала обводить всех диким взглядом.

– Наконец, я умерла! – заговорила она слабым голосом. – Гритлих, ты взял меня к себе!.. Как я рада!.. Как мне хорошо теперь!.. Что жить без жизни!.. Да, где же ты... О, дай мне полюбоваться на тебя...

Она протягивала руки в пространство.

– Нет, ты не умерла, ты жива, красная девица... Мы вырвали тебя у смерти... Вот твои вороги, – сказал Пропалый.

Эмма взглянула бессмысленным взглядом на трупы.

– А они давно уже умерли? Вместе со мной?.. Это вы, батюшка?.. Теперь мы не расстанемся с Гритлихом!

– Да она полоумная, брось ее, что проку возиться с ней! – закричали Ивану товарищи.

– Нет, возьмем ее с собой из этой преисподней. Тут побыть, так и мы заблажим... Давай-

те-ка на ее место этого старого Кащея! – сказал Иван.

Гримма потащили на кровать.

Он всеми силами выбивался из рук несших его, но, видя, что усилия тщетны, закричал, что есть силы, зовя кого-нибудь на помощь.

– Захмелел, горлопятина! погоди, скоро не так запоешь! – говорил Пропалый, укладывая его и связывая своим кушаком.

Дружинники натаскали обломки скамеек, древков от валявшихся в подземелье копий и, навалив их кучей под постель, зажгли факелом.

Гримм продолжал изрыгать ругательства, но скоро затих, охваченный дымом и пламенем.

– Собаке – собачья смерть! Но куда девался окаянный Павел! – заметил Иван.

– Черт в зубах унес! – отвечали ему товарищи, освещая впереди и около себя все места и неся на руках слабую, безмолвную Эмму.

Они обыскали все обширное подземелье и, бросив поиски, поднялись через другую лестницу в необитаемую часть замка.

XXIII. Пожар

В этой необитаемой части замка Гельмстены обвивали полуувядшие плющи, высовывались наружу из полуразрушенных окон; совы и филины летали на просторе и, натыкаясь на огонь факела, который принесли с собой из подземелья русские дружинники, чуть не гасили его и в испуге шлепались на землю.

Эмму положили на пол. Воздух освежил ее. Она стала дышать ровнее и свободнее.

Иван Пропалый, невзирая на сильный холод, окутал ее своим зипуном и, сам не зная, что с ней делать, куда ее девать и куда самим деться, согласился с прочими, что пора действовать.

Они начали подставлять факел к рваным обоям; последние быстро вспыхивали, но вскоре гасли, шипя от сырости.

Видя, что это не действует, дружинники стали собирать горючий материал и, наконец, достигли того, что пламя охватило всю комнату.

– Пора! Чу! Петухи перекликаются. Чай, те-

перь давно за полночь? Наши продрогнут от холода и заждутся. Пожалуй, еще за упокой поминать начнут, подумав, что мы погрязли в этой западне по самые уши, – заметил Иван, подпаливая последнюю стену.

Все работали усердно, кто шапкой, кто чем попало, раздувая огонь, и скоро пламя широкими языками начало выбивать из окон.

– Авось, теперь не погаснет огонь. Он прожорлив: как разбежится, так не уймешь, начнет метаться во все стороны: любо-дорого смотреть, – слышались замечания дружинников.

– Однако, братцы, горячо оставаться в этой жаровне. Выберемся-ка лучше на приволье...

– Братцы, что мучить девицу-то? Кинемте ее лучше в серединку. Не успеет и пикнуть, как уж ни одной косточки в ней не останется, – предложил один из дружинников, указывая на лежащую в полузабытьи Эмму.

– Нет, не тронь, она и так обижена! – сказал Иван. – Душа безвинная восплачется на нас, так Бог накажет.

Еще раз посмотрели они на всепожирающее пламя, длинными языками лезшее вверх

по стенам, вышли на волю другим выходом и вскоре по уцелевшей полуразвалившейся лестнице спустились вниз.

Эмма, после их ухода, от действия свежего воздуха ожила, и, как была, в зипуне Пропалого, быстро убежала по стене замка, видимо, сама не зная куда.

Спустившись на двор замка, дружинники натолкнулись на груду изувеченных тел. По одежде и оружию они узнали в мертвецах своих земляков.

«Так вот они, пленники, захваченные ими, о которых говорил вчера рейтар, при въезде в ворота замка!» – подумали русские молодцы.

Распаленные гневом и жаждой мщениия, они начали со своей стороны дикую расправу над встречными-поперечными: как звери, зарыскали они по двору и по замку и рубили сонных служителей.

Задумчиво всю ночь расхаживал Бернгард по стенам замка. В его душе боролись между собой противоположные чувства: то он хотел покинуть зверский замок, где ни мало не уважается рыцарское достоинство, то жадно стремился мыслью скорее сесть на коня и

мчаться на русских, чтобы кровью их залить и погасить пламя своего сердца и отомстить за своих.

Вдруг стены и весь замок мгновенно осветились. Огонь, пробившись сквозь ветхую западную башню, засверкал на зубцах ее и далеко отбросил от себя яркое зарево.

Бернгард испугался за Ферзена и бросился скорее будить служителей, но нашел их всех перерезанными, между тем, как из всех соседних комнат до него доносился беспечный храп и носовой свист спящих рыцарей.

– Пожар, пожар! – закричал он изо всей силы.

– Измена! Русские в замке! – крикнул в ответ ему неизвестный, бежавший прямо на него.

Бернгард узнал в нем того русского пленника, которого накануне велел повесить Гримму.

– Я вижу кто! – грозно встретил его Бернгард, одной рукой схватив его за шиворот, а другой приставив меч к его груди. – Кайся, сколько вас здесь и где твои сообщники, тогда я одним ударом покончу с тобой, а иначе –

ты умрешь мучительной смертью...

– Заклинаю вас, благородный рыцарь, увериться в моей преданности к вам! Не теряйте времени, спешите на ту сторону замка, к воротам, там русские в одежде рейтаров Доннершварца. Я узнал их, они как-то прокрались в замок, перебили многих, сбили замки с конюшен, разогнали лошадей ваших и...

– Верны ли слова твои?..

– Да возьмите меня с собой!..

Оба они растолкали кого могли из спящих, стремглав побежали в указанное Павлом место, хлопая дверьми, звуча оружием и неистово крича:

– Пожар, пожар!.. Русские!

«Пожар!.. Русские», – грозным эхо пронеслось по замку.

Проснувшиеся и оставшиеся в живых рейтары и служители бросились во внутренние апартаменты замка, где сладким сном покоились непобедимые рыцари.

– Вставайте!.. Пожар! – кричали они всем.

– Где? – спрашивали, лениво потягиваясь, рыцари.

– На западной части башни!

– О, до нас еще далеко, – беспечно решили они и перевернулись на другой бок.

– Да ведь русские в замке!..

– В чьем?

– В нашем, в нашем! Уж там дерутся – чу, какой гам!

– Как! – воскликнули они испуганно, и полусонные начали метаться по комнатам.

– Благородный рыцарь, господин повелитель мой, владетельный рыцарь Роберт Бернгард послал меня успокоить вас. Русские вчера обманули стражу нашу и вошли в замок в нашей одежде. Их немного, всего одиннадцать человек. Господин мой с рейтарами уже окружил их гораздо большим числом и просит вас не препятствовать ему в битве, хотя они упорно защищаются, но он один надеется управиться с ними – сказал рыцарям вошедший оруженосец.

– Пусть за ним будет это слово, – вскричали обрадованные рыцари.

– Да мы с малым числом и драться не захотим! – добавил другой, зевая во весь рот.

Доннершварц, как короткий приятель дома фон Ферзен, находился с ним вместе в от-

даленной от пожара и битвы комнате замка.

Старик, опечаленный, усталый от нескольких проведенных без сна ночей, выпивший накануне лишнее, спал как убитый, не ведая, что около него спит самый злейший его враг – похититель его дочери.

Ввиду известия, принесенного оруженосцами Бернгарда, что русских немного, что рыцарь Бернгард окружил их, хозяина не стали беспокоить, чтобы он запас более сил к утру, на храбрость же Доннершварца плохо наделись.

Бернгард между тем со своими рейтарами, среди общей паники, наступившей в замке при вести о нахождении в нем русских, среди воплей отчаяния и мольбы о помощи, руководимый Павлом, настиг русских дружинников, убивавших по одиночке наповал каждого из попадавшихся им рейтаров.

Русские пробирались к стене, искали какого-нибудь выхода из замка, чтобы соединиться со своими, когда на них было совершено нападение. Они сомкнулись друг с другом крепко-накрепко, уперлись спинами к стене и, оградившись щитами, устроили стену, ре-

шившись, видимо, дорого продать свою жизнь.

Заметнее всех среди сражающихся мелькали меч Бернгарда да узловатый кистень Пропалого.

Но бой был не равен.

Русские падали без подкрепления, тогда как редевшие ряды воинов Бернгарда заменялись новыми.

– Булат! Булат! – кричали русские, в надежде, что их услышат товарищи, но тщетно...

Скоро расходившееся все более и более пламя зажженного ими замка осветило их трупы.

XXIV. Гибель Эммы

Огненный флаг, обещанный Иваном Пропалым, был выкинут им с башни замка Гельмст.

Его скоро заметили находившиеся в засаде в лесу, невдалеке от замка, русские дружинники, предводительствуемые Чурчилой и Дмитрием.

– Сдержал свое слово Пропалый. Вот уж прямо по-молодецки! Славно светит он нам дорогу к замку! Ну, братцы, разом! Промните коней, да и у самих, чай, кровь застоялась, – разнеслись по встрепенувшейся дружине восклицания.

Все было забыто – сон, усталость, самая родина.

Мигом вскочили все на коней и пустились туда, где виднелось громадное зарево. Через рвы и канавы началась скачка; приманками служили слава, золото, раны и смерть.

Подъемный мост был поднят, но русские даже не взглянули на него. Они спешили, спустились в ров и туда же свели своих лошадей. Вода во рве замерзла.

Если бы рыцари заметили движение русских и захотели воспрепятствовать им в переправе, то могли бы очень легко это сделать, так как соскочить в ров было делом нетрудным, а подняться на крутизну его сопряжено было с большим трудом.

Но из замка их не заметил никто и они все благополучно выбрались на ровное место.

– Братцы! – воскликнул Чурчила, – рубите и жгите мост! Во-первых, мы ответим Пропалому на его же языке, на языке огня, а во-вторых, без моста никто из нас не подумает возвратиться назад.

Сказано – сделано. Мост запылал, русская дружина мчалась между двух огней.

– Кто это там на стенах? Переговоры, что ли, вести с нами хочет? – сказал один из дружинников, показывая рукой на стены замка.

Все поглядели по указанному направлению и, подъехавши ближе и всмотревшись, увидели ужасное зрелище: Иван Пропалый и его товарищи висели мертвыми на зубцах стен. Головы их были раздроблены, тела изуродованы, свежая кровь шла из ран их.

Насилу узнали их земляки.

Мечь закипела в сердцах и взорах их.

Прикрывшись щитами, с гиком ярости бросились они на замок, откуда слышались им смешанные громкие голоса, галоп лошадей и звук оружия.

Задрожали тяжелые ворота под первым натиском русских.

Рыцари повыглянули на осаждающих из окон и говорили себе в утешение, что врагов малая кучка, что муха крылом покроет всю шайку, – так ободряли они своих рейтаров, но сами не трогались с места.

Русские кричали им, осыпая окна градом стрел:

– Ну-ка, выходите сюда, железные люди! Что вы головы-то высовываете, как лягушки из воды! Выходите смелей, мы раскупорим вашу скорлупу!

Бернгард, раненный в схватке с дружиной Пропалого, отдыхал в замке, фон Ферзен бросался во все стороны, отдавал приказания одно нелепее другого, так что никто не понимал его и слушавшие только пожимали плечами, глядя на помутившегося умом старика. Доннершварц, празднуя победу над Пропалым и

помянув его полной чарой, расхрабрился и выехал на двор, но когда ропот ужаса при новом нападении русских достиг до него, он совершенно обезумел от страха и кричал, что в замке есть надежное убежище в подземелье, куда он и советовал ретироваться. Страх вышиб у него всю память, он забыл об Эмме, Павле и Grimme. Весь замок кружился в глазах его. В эту минуту фон Ферзен схватил за поводья коня его и потащил за собой.

Мимо них пронесся в битву не усидевший в стенах замка Бернгард. Рейтары понеслись за ним, многие спешили и полезли на стены замка защищаться.

Смертный час несчастной Эммы был близок. Это нежное, слабое создание, напуганное столькими ужасами, убитое столькими горестями, лишилось совершенно ума и в отчаянии бегало по саду, призывая своего Гритлиха. Только шум битвы вызвал ее оттуда. Не чувствуя холода, побежала она через двор с слабым остатком памяти и начала искать свою комнату, но огонь охватил уже большую часть замка; хотя она и не нашла ее, но не страшась пламени, полезла с непомерной си-

лой и ловкостью между рыцарями на стены. Легкое покрывало окутывало ее голову, рыцари не узнали ее, да им и не до нее было.

– Кто за мной! – слышался голос Бернгарда, с отвагой кидавшегося отражать русских от разбитых уже ворот, но число его рейтаров редело, и один оглушительный удар русского меча сшиб с него шлем и оторвал половину уха; рассыпавшиеся волосы его оросились кровью.

Бледный месяц выплыл из-за облаков и уныло глядел на кровавое зрелище...

Волны огня бушевали все сильнее и сильнее и ярко освещали битву, отбрасывая от себя далеко зарево. Со стен замка сыпалась смерть.

Невзирая на это, русские приставляли к ним лестницы и, отражая удары, смело лезли по ним, весело перекликаясь друг с другом.

– Чмокайся, братище, со смертью!.. Лезь прямо на нее!.. Ну, лицом к лицу... Вот так!..

И действительно, иной, пораженный на верхней ступеньке, летел мертвым на землю.

Осажденные обливали своих противников горячей смолой, пускали в них кучи стрел, об-

ламывали сами стены и скатывали их на русских. В дружинников летели горящие головы, град стрел, но они не отступали ни на шаг.

Эмма стояла на стене, недалеко от клокущего пламени, машинально распротерши руки и обводя всех диким взглядом, наблюдая за каждым взмахом меча, как бы ожидая, что один из них, наконец, поразит и ее.

Григорий, заметивший на щитах некоторых рейтаров девиз Доннершварца, до того времени не участвовавшего в битве, ринулся на них, и скоро меч его прочистил ему дорогу к их начальнику.

Доннершварц, весь залитый железом, подобно другим рыцарям, стоял среди своих телохранителей.

Григорий, наехав на него, поднял наличник своего шишака.

– А, ты захотел проститься со мной, щенок! – заревел Доннершварц. – Прощай, кланяйся чертям!

Он поднял свое тяжелое копьё.

– Прощай, вот тебе посылка на тот свет! – возразил Григорий и, предупредив удар, на-

нес свой.

Копье его вонзилось в бок железного рыцаря; Григорий, переломив копье, оставил острие его в ране. Доннершварц зашатался, тихо вымолвил свою любимую поговорку и, свалившись с лошади, рухнул на землю.

Григорий тихо отъехал от сраженного им врага, поднял взор свой к небу, и вдруг сердце его наполнилось неописанной радостью.

Его Эмма стояла на стене, молча, сложа руки, и глядела на него пристально, но холодным безжизненным взглядом.

Он, поняв этот взгляд и молчание за ненависть к себе, горько улыбнулся и тихо и нежно назвал ее по имени.

Она встрепенулась, быстро и внимательно посмотрела на него и, вскрикнув, покатила со стены.

Григорий обмер.

В это время русские проложили себе путь и через стену. Он первый вошел в двери замка и только тогда очнулся.

Первое, что бросилось ему в глаза, был обезображенный, еще теплый труп любимой им девушки.

Григорий упал на него с диким стоном и зарыдал.

Слезы облегчили его, но страшная мысль осенила его и он почувствовал, что отныне укору совести не оставят его до самой смерти.

— Ее поразила моя измена своим кормильцам, она покончила с собой, не вынеся ни злости любимого человека... Что ж, мне остается... умереть.

Он бросился в битву искать смерти.

Вдруг он услышал знакомый голос.

Он взглянул назад и заметил старика, который, прислонясь к стене, один защищал вход через нее в замок. Дмитрий, нападавая на него, вышиб меч из рук его, нанес удар и, перешедши через его труп, соединился со своими.

Григорий узнал этого старца. Это был фон Ферзен. Он подбежал к нему и принял последнее проклятие от умирающего. Это было последней каплей, переполнившей чашу нравственных страданий несчастного юноши. Он как сноп повалился без чувств около трупа своего благодетеля и был вынесен своими на

плечах из этого кладбища не погребенных трупов.

Все еще свирепствовавшее пламя освещало уже русские шишаки на стенах замка. Решил победу Чурчила, поразивший насмерть единственного храброго защитника замка, Бернгарда.

Начался грабеж добычи, а затем попойка победителей, ликовавших весь остаток ночи на дворе догоравшего замка.

XXV. Под Новгородом

— Слава тебе Господи! Вот и Аркадьевский монастырь, вот и Никола на Мостицах, вот Лисья горка, вот Городище, а вот и храм нашей матушки-заступницы святой Софии! — радостно восклицали русские дружинники, возвращавшиеся из Ливонии с богатой добычей и увидевшие издали купола и крыши родных церквей, позолоченные лучами зимнего солнца.

— Господи, благослови наше прибытие, — благоговейно сказал Чурчила, истово перекрестившись. — Сильно бьется ретивое, что-то знаменует это.

– Как жаль Григория, пропал без вести, лишилась своей возлюбленной! Где-то мыкается теперь сердечный? Нигде не отыскали мы его! – заметил Дмитрий.

– А больше всего поразило его другое горе, – промолвил Чурчила, – когда он узнал, что отца его, Упадыша, прокляли во всех новгородских соборах. Куда же ему деться, его бедной головушке? Где теперь найдется ему отчизна? Жаль его, жаль!

Скоро многие из воинов могли уже различить крыши своих домов и в восторге спешили окончить путь, погоняя лошадей.

Великий, богатый Новгород развернулся перед их глазами безграничной панорамой, кипел своим многолюдством, и звуки разных голосов достигали уже их ушей, сливаясь с разносимым ветром благовестом к вечерням.

В это время великий князь быстрыми шагами подступал к Новгороду, а передовой отряд его спешил занять Городище.

Чурчила с товарищами уже подъезжал к городу. Вблизи уже показались кресты многочисленных церквей новгородских. Дружинники скинули шапки и набожно перекрести-

лись.

– Стойте, братцы! – сказал Чурчила, осенив себя троекратным знамением. – Прежде, чем мы придем домой, подумаем, где он у нас будет: на воле или в ратном поле?

Дружинники остановились.

– Вон, прямо-то, по косогору, что-то желтеется на снегу, – заметил Дмитрий. – Я думаю, что это не городки ли уж поделаны для защиты.

– Да, должно быть, что мы с битвы поспеваем прямо в битву, – добавил один из воинов.

– Кажись, война у наших закипает с москвитянами; но куда нам деваться, чью сторону держать, куда лететь, на вече или на сечу? – задумчиво произнес Чурчила.

– Мы с тобой всюду поспеем, – отвечал Дмитрий. – Пусть голос наш заглушают на дворище Ярославовом – мы и не взглянем на этот муравейник. Нас много, молодец к молодцу, так наши мечи везде проложат себе дорожку; усыплем ее телами врагов наших и хотя тем потешим сердце, что это для отчины. А широкобородые правители наши пусть

толкуют про что знают, лишь бы нам не мешали.

– Для земли родной забываю я обиды и для земляков готов всегда держать меч наголо! Однако сделаем привал, чтобы свежими и бодрыми вернуться домой, – сказал Чурчила, слезая с лошади.

Все спешились.

Кто начал кормить из полы кафтана свою лошадь, кто стал распивать круговую чашу запасного вина.

Вдруг невдалеке от них показались длинные обозы, тянувшиеся из Новгорода и пробиравшиеся на псковскую дорогу.

Дружинники долго недоумевающим взором следили за ними.

– Однако надобно узнать, кто это прокатывает свое имущество? Видно, залежалось оно в сундуках, так хотят его проветрить, – сказал Дмитрий.

– А может быть, везут его припрятать в надежное место от зорких глаз москвитян. Только едва ли удастся что спрятать от них: говорят, они сквозь землю видят, как сквозь стекло, да и чутье у них остро к золоту и серебру, –

заметил Чурчила.

– Эй, вы, куда едете? На теплые моря, что ли? – крикнули дружинники провожавшим обоз людям.

Те сперва испугались и хотели даже повернуть лошадей, но затем, взглядевшись в кричавших, доверчиво приблизились к ним.

Это были иноземные купцы, ехавшие с товарами в Псков, спасаясь от хищничества москвитян.

Начались спросы-переспросы.

Купцы рассказали дружинникам о новгородских событиях последних дней и о начавшейся войне Великого Новгорода с великим князем Иоанном и добавили в заключение, что до них донеслась весть, что псковские дружины сошлись с дружинами великого князя, а съестные припасы и другое продовольствие подвигаются также к москвитянам и отстоят уже недалеко от них. Новгородские ратные люди покушались было подстеречь их, так как охранных воинов не много, но все еще перекорялись, кому вести их туда.

– Братцы! Метнемся на псковитян пере-
межных, захватим, что можем! Веселей будет

домой въезжать! – воскликнул весело Чурчила и тотчас вскочил на лошадь.

Все последовали его примеру.

Обозы тянулись своей дорогой.

Окольным путем, тайком от глаз и ушей, пробиралась неугомонная дружина. Почти на каждом шагу их стерегла опасность; в виду их разъезжали московские воины, сторожившие вылазки новгородцев.

Это был передовой отряд, посланный занять Городище.

Новгородские удальцы, доехав до известного им оврага, влево от большой дороги, пролегавшей через лес, поскакали по сугробам снега, и, наконец, один из них, приостановясь, слез с лошади, приник ухом к земле и быстро сказал:

– Едут, полозья скрипят по снегу, и не далеко.

Большую дорогу окружили со всех сторон и, выждав псковитян, мигом налетели на них с обоих боков повозок.

Начался грабеж.

Из охранной дружины многие разбежались, а остальные полегли на месте.

– Что, небось, тяжело вам везти поклажи-то свои? Вот мы облегчим их немного, – приговаривали новгородцы, разгружая повозки.

Но вскоре им надоело это, и они, схватив за уздцы лошадей, повели их за собой.

Вскоре они выбрались благополучно из леса на пролеску, под покровом уже нависшего над землей мрака. Опять перед ними расстился Новгород, блестящий огнями.

Ночь уже вступила в свои права.

Дружинники ехали тихо, путеводимые городскими огнями, и скоро окрик сторожевого «слушай», у городских ворот, коснулся их ушей.

Быстро разнеслась молва по Новгороду о возвращении Чурчилы с удальцами.

Толпа молодежи бросилась встречать его; сколько задано было ему вопросов, сколько посыпалось на него рассказов.

Чурчила узнал о бегстве своего отца, но от него скрыли истинную причину и место, где он находится, и старались поселить к москвитянам жестокую ненависть.

Он боялся спросить о своей Насте, но до-

гадливые предупредили его и рассказали, что она никуда не показывается и все проливает горькие слезы от разлуки с ним, а что отец ее, посадник Фома, принуждает ее выйти замуж за одного вельможного ляха, который для нее переменял даже веру.

– Нет, – сказал Чурчила, сверкнув глазами, – венец или гроб сулит мне моя судьба, но при жизни своей злу такому не попусти я совершиться!

XXVI. Единоборство сына с отцом

Ночь спустилась над Новгородом и его окрестностями.

Подобрав в руки свои висячие мечи и чуть шевеля наборными уздами, приближался отряд московской дружины к Городищу. Темнота скрывала следы его, и он скоро достиг места, которое было назначено пунктом атаки, и остановился под прикрытием оврага выждать глухого времени ночи.

Огоньки мелькали еще перед ними чуть видимыми точками; снег порошил и ложился на доспехи воинов белой тканью.

Воеводы сидели в кружке. Один только из

них, маститый старец, отделившись от прочих, стоял, скрестив руки на груди, против Новгорода и, казалось, силился своими взорами пробить ночную темноту.

– И куда этот старик движет столетние ноги свои! – говорил, указывая на него один из сидевших воевод. – Если и мыши нападут на него, то прежде огложут его, как кусок сыра, чем он поворотит руку свою для защиты. Уж он и так скоро кончит расчет с жизнью. Один удар рассылет его в песчинки, а он все лезет вперед, как за жалованьем.

– А почему знаешь, чего не ведаешь. Быть может, он первый вышибет победу у врага. Вишь, как идет вперед, а по проторенной-то дорожке за ним всякому идти охотнее.

– Да мы и без него пойдем на Городище, как домой, – возразил третий.

– Вот и последние огоньки зажмурились в Новгороде. Теперь ударим-ка!

– Смелей! – проговорил быстро старик, подходя к ним, и бодро и легко вспрыгнул на коня.

– На коней! Вперед! – крикнули воеводы, и во весь карьер пустились вверх на Городище.

– Ступайте на тот свет, дорога всем просторна! – встретили их голоса, и передние воины, осыпаемые градом стрел, покатались вместе с конями под гору.

– А! Подстерегли, злодеи! – воскликнул старик и, оправясь от первого отпора новгородцев, разжег нагайкой своего коня и пустил его в самую середину врагов.

Битва сделалась повсеместной.

Москвитян было больше числом, но Чурчила, предводительствуя новгородцами, сохранял равновесие сил, сражаясь в центре.

Меч его сверкал над головами врагов, щит его был перерублен, и он откинул его.

Старик, со стороны москвитян, с ловкостью юноши управлял своим оружием, меч его только вместе со смертью опускался на головы противников, расщемлял и мял крепкие шишаки их.

Чурчила в свою очередь не делал ни одного промаха.

Все воины дрались с остервенением.

Новгородцы не уступали.

Главные бойцы-противники наскочили один на другого.

– Сдавайся! – воскликнул Чурчила, закидывая на спину другого щит свой и направляя на старика меткий удар.

– Я никогда не сдавался и не поддамся никому, – гордо отвечал старик и ловко отбил удар Чурчины.

– Так я научу тебя ползать не только передо мной, но еще под ногами моего коня! – с бешенством крикнул новгородский богатырь, и одним взмахом меча своего вышиб меч противника.

– Сдавайся же! – приставил он острие меча к его груди, – а то я проткну тебя насквозь, как воздух.

– Как удастся, повалимся хоть вместе, – отвечал старик, и пустил в него копьё, мотавшееся за его спиной.

Копьё вонзилось в шею лошади, задрожало в ней, и она, пронзенная, зашатавшись, упала со всадником.

Быстро вскочил Чурчила на землю.

– О, ты не стоишь железа!

Он перевернул свое копьё тупым концом и готов был вышибить из седла своего противника, как вдруг раздавшийся вблизи выстрел

осветил лица обоих.

Они с содроганием отступили друг от друга.

– Батюшка! – упавшим голосом прошептал Чурчила и выронил из рук меч.

– Сын! – воскликнул не менее пораженный Кирилл. – Это мы с тобой ищем жизни друг у друга?.. Вот до чего нас довела лихая судьба!

Старик всплеснул руками.

Чурчила молчал.

– И ты останешься другом врагов моих? Прежде отрекись от меня! – продолжал Кирилл.

– Что же делать, батюшка! Я целовал крест служить Великому Новгороду.

– И быть так! – сквозь слезы проговорил старик.

Вокруг них раздались крики и вопли, кипела битва, но отец, не взирая ни на что, слез с лошади и, возложив крестообразно руки на голову коленопреклоненного сына, благословил его.

– Быть может, мы не увидимся! И я целовал крест Иоанну. Проклятие небес поразит того, кто не исполнит клятвы! Прощай, кла-

няясь Фоме. Если он одумается, то я охотно готов назвать его дочь моей.

Чурчила плакал навзрыд.

Кирилл тоже.

– Еще прощай!

– А если мы в другой раз встретимся? – спросил Кирилл.

– Тогда уж, конечно, я отклоню меч свой от тебя! – отвечал сын.

Они обнялись и расстались.

Московитяне, между тем, стали брать видимый перевес численностью.

Дмитрий один не в силах был отражать их напора. К тому же какой-то лях, вмешавшийся в число сражающихся, вскоре бежал и расстроил своих.

Смятение в рядах сделалось всеобщим.

Чурчила, расставшись с отцом, бросился на помощь к товарищам, но поздно: он успел только поднять меч, брошенный ляхом во время бегства, и поспешил с ним на помощь к новгородскому воеводе, недавно принявшему участие в битве, и, будучи сам пеший, стал защищать его от конника, меч которого уже был готов опуститься на голову воеводы...

Чурчила сделал взмах мечом, и конь всадника опустился на колени, а сам всадник повалился через его голову и меч воткнулся в землю.

– Кто бы ты ни был, храбрый витязь! – радостно произнес воевода, спасенный от смерти, – прими от меня этот перстень вместо талисмана и действуй на меня им по твоему соизволению: все что только не идет против чести и совести, все сделаю я для тебя. Клянусь в том смертным часом своим!

Он сунул в руку Чурчицы перстень.

Последний обомлел: он узнал по голосу спасенного им: это был посадник Фома, отец Насти.

Нравственное потрясение в связи с обилием потерянной крови обессилили его.

Он упал.

На двух щитах понесли его в Новгород.

Новгородцы отступили.

Таким образом Городище было занято московитянами за одну ночь.

Вечером 27-го ноября великий князь подступил к Новгороду с братом своим Андреем Меньшим и с племянником, князем Верей-

ским, и расположился ставками у Троицы на Озерской, на берегу Волхова, в трех верстах от города, в селе Лошанском. Брату своему велел он стать в Благовещенском монастыре, князю Ивану Юрьевичу – в Юрьевском, Холмскому – в Аркадьевском, Александру Оболенскому – у Николы на Мостицах, Борису Оболенскому – в местечке Соков, у Благовещенья, князю Василию Верейскому – на Лисьей горке, а боярину Федору Давыдовичу и князю Ивану Стриге-Оболенскому – на Городище.

Город, таким образом, был окружен со всех сторон, великий князь решил заставить сдаться новгородцев, истомив их голодом.

Псковитяне подвозили к нему, кроме огнестрельного оружия, хлеб пшеничный, калачи, муку, рыбу, медь, и стан его имел вид постоянного шумного пира.

Новгородцы же были лишены всякого продовольствия и голодали.

Только порой смельчаки, предводимые Чурчилой, внезапно делали вылазки из города, врасплох нападали на москвитян и отбивали у них кое-что из продовольствия.

Великий князь знал Чурчилу, знал, чей он

сын, и назначил в награду за поимку его столько золота, сколько потянет сам пойманный.

Но сделать это было не легко.

XXVII. Прерванное обручение

Прошло несколько дней. Был поздний зимний вечер.

Терем степенного посадника Фомы весь горел огнями, пробивавшимися наружу лишь сквозь узкие щели железных ставень.

Ворота были раскрыты настежь. На дворе, под навесом, слышалось фыркание лошадей, лай цепных псов, звон их цепей, беготня прислуги и скрип то и дело въезжающих во двор саней, пошевней, роспусков.

Из экипажей выходили гости и, поднявшись на несколько ступеней крыльца, отряхивались в сенях от снега и входили в приемную светлицу, истово крестясь в передний угол и кланяясь хозяину и гостям.

Приемная светлица, ярко освещенная огнями, была полна разряженными женщинами.

В красном углу, под образом Пречистой Бо-

городницы, были поставлены две небольшие скамьи, обитые голубой камкой.

Они были пусты.

Посредине светлицы стоял длинный стол, покрытый белой скатертью и буквально лопившийся от разных сладких закусок, оловянных крепкого меда и других яств и пивных.

В заднем углу, за толстым обручком дерева, недвижимо сидел немолодых уже лет мужчина, с широкой бородой, закрывавшей половину его лица. Длинные волосы, широкими прядями спадавшие также на лицо этого человека, закрывали его совершенно, только глаза, черные как уголь, быстрые, блестящие, пристально глядели на поверхность стоявшего перед ним сосуда, наполненного водой.

Это был запах, или кудесник, приглашенный Фомой в его терем, по обычаю того времени, так как без него не мог состояться ни один брак, а вечер этот был назначен для благословения образом и обручения невесты и жениха – дочери посадника Фомы, Настасьи и польского пана.

Кудесник гадал о будущей судьбе их.

Все гости затаили дыхание, смотря на его занятия, глядели на него с суеверным страхом и лишь изредка переглядывались между собой, покачивая головами, и шептали про себя молитву, считая его действия сношением с нечистой силой.

Вдруг среди невозмутимой тишины кудесник поднял голову, окинул всех своим стальным взглядом и глухо проговорил:

– Кровь на дне!

Лица всех побледнели от ужаса.

– По окончании обряда благословения, вспырни жениха с невестой водой и от них отлегают всякое зло, и сила нечистая ожжет крылья свои при прикосновении к ним.

Все оживились, воспрянули, точно гора свалилась с плеч у каждого.

Гости изъявили желание скорей видеть невесту, и Настасья Фоминична, по зову своего отца, тихо вышла из боковой светлицы.

Ее мать, сторбленная старушка, вела свою дочь, сама опираясь на костяной костыль.

Мать с дочерью, войдя в приемную, раскланялись и прошли в красный угол под ико-

ну Пречистой, где невеста заняла приготовленное для нее место, продолжая, как и при входе, плакать почти навзрыд.

В это же время в сенях раздались быстрые шаги, бряцанье мечей и голоса:

– Жених, жених приехал.

Настасья Фоминична так и замерла на своей скамье.

– А, пан Зайцевский! – радостно приветствовал его Фома. – Где же твой дружок?

Зайцевский молча указал на дверь, в которую с надменным видом входил пан Зверже-новский.

Он был одет так же, как и его товарищ.

Невеста сидела неподвижно. Казалось, она жила и дышала как-то машинально.

Началась беседа о новгородских делах, но ее вскоре прервал кудесник.

– Пора! – провозгласил он. – Прежде чем закатится вечерняя звезда, вам должно уже совершить начатое, а то горе, горе ослушавшимся.

Сказав это, он окинул всех своим пылающим взором.

Его тотчас подхватили под руки и повели в

красный угол, где и усадили рядом с женихом и невестой, чтобы он силой своих заклинаний отгонял от обручающихся вражеское наваждение и охранял их от всякого зла и напастей.

Все по очереди подносили ему сладкие яства и питья, а хозяин – и пенязи на блюде.

Обручение с минуты на минуту должно было начаться, как вдруг в запертые ворота раздался такой сильный стук, что дрогнули стены и окна дома.

Послышался голос со двора и, по-видимому, начались переговоры. Затем все смолкло, но скоро раздался вторичный удар в ворота, и они, пронзительно заскрипев петлями, растворились. Послышались тяжелые шаги, сперва по двору, затем по сеням, а наконец, и у самой двери.

– Кто это так смело и, кажется, насильно ворвался в мой терем? Дорога же ему будет расплата со мной! – сердито заговорил Фома.

Страшно перепуганные гости жались друг к другу, а кто был посмелей, схватились за рукоятки своих мечей.

Быстро распахнулась дверь, и в светлицу

вошел атлетического сложения богатырь. Он был весь залит железом, тяжелый меч тащился с боку, другой, обнаженный, он держал под мышкой, на левом локте был поднят шлем, наличник шишака был опущен.

– Чур нас! Чур нас! – заговорили вполголоса гости, сочтя явление это за сверхъестественное.

– Аминь, рассыпья! – произнес громким голосом кудесник, устремив на вошедшего свои странные глаза.

– Я не дух, а человек, а потому ты сам рассыпешься у меня от этого аминя в пшено, – обратился богатырь к кудеснику, встряхнув в руке свой огромный палашище.

– Что же ты за наглец, – сказал ободрившись Фома, – что незванный ворвался в мои ворота, как медведь в свою берлогу? В светлицу вошел, не скинув шишака своего, и даже не перекрестился ни разу на святые иконы. За это ты стоишь, чтобы сшибить тебе шишак вместе с головой.

– Очнись, Фома! Я больше тебя помню Бога и чаще славлю всех Его угодников, – возразил незнакомец. – С тобой расчет буду вести по-

сле, а теперь хочу поговорить с этим паном.

Он указал на Зайцевского.

Последний попятился спиной к стене.

– Я не помню, не знаю, не слышал и не видел тебя никогда, – проговорил он с дрожью в голосе.

– Порази тебя гнев небесный и оружие земное. По крайней мере узнаешь ли ты этот меч, который был покинут тобой в ночь битвы на Городище. Ты первый показал хвост коня своего москвитянам и расстроил новгородские дружины. Этот меч, я сам узнал недавно, принадлежит тебе.

– Если бы ты сказал это мне не здесь, я бы скорее умер, а не снес этого и зажал бы рот твой саблей, я бы изломал в груди твоей этот меч, лжец бесстыдный! – с бешенством заговорил Зайцевский.

Он понимал, что это обвинение для него страшно, так как все проклинали ляха, расстроившего стройные ряды новгородцев и погубившего все дело.

– Лжец, я лжец?! – заревел богатырь. – Смотри, изувер, чье имя вычеканено на клинке?

С этими словами он схватил его за шиворот и потащил на середину светлицы.

– Прими же твое от твоих!

Он взмахнул над Зайцевским его собственным мечом.

– Пощади! – взмолился он задыхающимся голосом.

– С условием, сознайся, что тебе принадлежит этот меч...

– Сознаюсь, только отпусти меня!..

– Еще одно слово, отступись от Настасьи...

Зайцевский молчал.

– Умри же!..

– Отступаюсь!..

Богатырь выпустил пана, который быстро улепетнул в открытую дверь, куда уже ранее, воспользовавшись переполохом, успел улизнуть Зверженовский.

Фома, услышав признание Зайцевского и увидав его позорное бегство, подошел к неизвестному.

– Я благодарен тебе, храбрый витязь! – сказал он, протягивая свою руку. – Ты вырвал с корнем худую траву из моего поля.

Витязь опустил в руку его перстень.

Фома вздрогнул.

– Больше чем друг – брат! Требуй, по условию от меня что хочешь.

– Добавь к этим названиям имя сына...

Неизвестный открыл наличник.

– Желанный мой, ты жив! – воскликнула радостно Настасья и, забыв стыд девичий, бросилась ему на шею.

– Сокол ты мой ясный! Золотые твои перышки! – заговорила старуха и начала также обнимать его.

Фома соединил руки своей дочери и... Чурчилы.

Нужно ли говорить, что это был он?

XXVIII. Признание посольства Назария

Павел косой, возвратившись из Ливонии, успел только навестить свое любимое Чертово ущелье и перешел соглядатаем к московскому воинству.

Через Павла великий князь узнал о голоде в Новгороде и спокойно ожидал его сдачи, зная, что недостаток в съестных припасах переупрямит новгородцев.

Со стороны осаждавших не было ни одного неприятного действия, они наблюдали только, чтобы ни один воз с провиантом не проехал в город, и, таким образом, осажденные, кроме наступившего голода, не терпели никаких беспокойств, расхаживали по своим стенам, изредка стреляли из пицалей и, смеясь с караула, возвращались к своим домашним работам.

Наконец, 4-го декабря, прибыл в ставку великого князя владыко Феофил с той же свитой, но получив тот же ответ, печально возвратился домой.

В тот же день подступил к Новгороду царь-

вич Данияр с воеводой Василием Образцем, Андреем старшим и тверским воеводой.

Они расположились в монастырях: Кириллове, Андрееве, Ковалевском, на Дерявенице и у Николы на Островке.

Город сжали еще более.

Услыхав о прибытии новой рати, Феофил на другой день прибыл опять к великому князю бить усердно челом.

Иоанн, которому надоела уж нерешительность новгородцев, принял его холодно и сурово спросил:

– Долго ли ты, отец святой, будешь разгуживать из стороны в сторону: я опасаюсь, что твоя излишняя приверженность к отчизне не была бы сродни вреду.

Феофил вздохнул и ответил:

– Государь! Мы признаем истину посольства Назария с Захарием.

Он не в силах был договорить. Его голос оборвался, и он замолк.

– Тем лучше для вас! – сказал улыбнувшись Иоанн.

– Что же ты хочешь от нас теперь, государь? – робко спросил Феофил. – Сними осаду

и дай нам передохнуть.

– Я хочу властвовать в Новгороде, как в Москве! – лаконически отвечал Иоанн.

– Дай нам прежде поразмыслить об этом. Новгородцы решились пожертвовать своей жизнью за свободу, трудно заставить их повинаться...

– Ослепленные глупцы! – воскликнул князь. – Да разве они теперь свободны? Разве они не в моих руках!

Феофил удалился, получив три дня на размышление.

Между тем, по наказу Иоанна, прибыло псковское войско и расположилось в селе Федотине и в Троицком монастыре на Варяже.

Затем он приказал своему художнику Аристотелю начать постройку моста под Городищем, как бы для приступа, и скоро мост этот, устроенный на судах, обогнул собой непроходимое место.

Все содействовало успеху Иоанна.

При виде новгородцев его воины приложились к образам под знаменами и, заиграв в зурны, двинулись. Подковы коней их и колеса загремели по мосту.

Все имело вид приступа.

Но вот открылись городские ворота и из них вышел архиепископ Феофил со свитой.

– Возьми, государь, с нас такую дань, какую мы будем в силах заплатить тебе, только не требуй новгородцев к себе на службу и не поручай им оберегать северо-западные пределы России. Молим тебя об этом униженно.

– Когда вы признали меня государем своим, – отвечал Иоанн, – то не можете указывать, как править вами.

– Как же? – сказал Феофил. – Мы не спознали еще московского обыкновения.

– Знайте же, – отвечал великий князь, – вечно колокол ваш замолкнет навеки, и будет одна власть судная государева. Я буду иметь здесь волости и села но, склоняясь на мольбы народа, обещаю не выводить людей из Новгорода, не вступаться в вотчины бояр и еще кое-что оставить по-старому.

Феофил опять вышел из ставки и еще потребовал времени на размышление.

Ему дали срок, но заявили, что это в последний раз.

Сама Марфа соглашалась на сдачу города, с

условием, чтобы суд оставался по-старому. Это условие служило залогом ее безопасности, но, узнав непреклонность великого князя, снова стала восстанавливать против него народ. Голос ее, впрочем, потерял большую часть своей силы ввиду вражды ее с Чурчилой, боготворимым народом, который называл его «кормильцем Новгорода».

Однажды, под вечер, Дмитрий, шедший к Чурчиле, столкнулся с ним у его ворот.

Последний был одет по-дорожному с надвинутой шапкой и суковатой палкой в руках.

– Это ты, Чурчила? – сказал Дмитрий. – Куда это?.. На богомолье, что ли, к соловецким отправляешься?

– Как-то зазорно сказать тебе правду-матку, а надобно сознаться, – отвечал Чурчила. – Я иду не близко, к тому кудеснику, который нанялся быть у нас на свадьбе. Он говорил мне, что у него есть старший брат, который может показать мне всю мою судьбу, как на ладони, а мне давно больно хочется узнать ее.

– Чуден ты! – улыбнулся Дмитрий. – Люди гадают, сидя в беде, да в несчастье кругом по

горло, а ты выплелся из того и другого. О чем тебе-то гадать приспичило?

– Мало ли дум в голове? Слышишь ли, как гудит выстрел в ущелье, как он на чью-нибудь жизнь послан?.. Новгород должен пасть. Если мы решимся умереть за него, на кого покинем женщин и детей? Эта мысль гложет мое сердце.

– Но не опасно ли тебе одному идти в неизвестное тебе место, к незнакомым людям? Может, они замышляют какие-нибудь козни против тебя?

– Я не зову тебя с собой! – надменно произнес Чурчила и пошел своей дорогой.

– Постой, дай еще словцо вымолвить! – остановил его Дмитрий. – Что-то сердце мое вещует не к добру. Послушайся совета брата своего названного, останься, или я пойду с тобой.

– Нет, не мешай мне; со мной меч. Так велено, – сказал Чурчила.

Выстрелы издали слышались громче и отдавались звучным эхом, можно было даже различать звуки голосов сражающихся.

Чурчила смело шел далее, миновал луго-

вину, прошел лес.

Перед ним уже виднелась изба, казавшаяся черной кучей на отливе белого снега. Сквозь щели этого полуразрушенного жилища виднелся мерцающий огонек.

Чурчила подошел ближе. Кругом все было тихо, только за избушкой, показалось ему, что кто-то роет землю.

«Уж не мне ли готовят могилу?» – мелькнуло в его голове.

Его внимание привлекло открытое окно: вместо болта мотались у ставня кости человеческих рук.

Он поглядел в окно.

В переднем углу, где обыкновенно у всех христиан висит лик какого-нибудь святого, что-то было завешено белым полотенцем, запачканным кровью.

«Что бы ни было, что бы ни случилось со мной, – подумал Чурчила – а надобно же войти в избушку».

И лишь только хотел он схватиться за скобку двери, – она сама распахнулась перед ним с жалобным визгом ржавых железных петель.

Послышался стон, словно от лопнувшей струны или от тетивы после спущенной стрелы; огонь в избушке, вспыхнув, погас.

Кругом стало непроглядно темно, но Чурчила, обнажив меч и оцупав им перед собой, двинулся дальше. Вдруг что-то, фыркнув под его ногами, бросилось к нему на грудь, устремив на него зеленоватые, блестящие глаза.

Чурчила ткнул его острием меча; животное издало пронзительный, отвратительный звук и исчезло с хрипением.

В этот же момент около него раздалось шипение и чья-то холодная как лед рука коснулась его шеи, как бы стараясь задушить его.

Чурчила, оторопев было сначала, схватил эту руку своей так сильно, что та отпала, будто оторванная. Почувствовав нечто около себя, он с силой отпихнул это в сторону, и услышал, как неведомое существо ударилось об пол и что-то посыпалось из-за стены.

– Слава храброму Чурчиле! Раз уж ты выдержал испытание, развеял силу вражескую, теперь тебе опасаться нечего – ты гость мой!

В избушке снова заблестал огонь.

У ее порога стоял старик с льняной боро-

дой и такими же волосами, падавшими на лицо.

– Садись же, дорогой гость! Я давно знаю тебя и давно ожидал к себе. Выпей-ка моего составца: он с дорожки укрепит тебя, – заговорил старик, подавая Чурчиле какую-то влагу в человеческом черепе и вперив в него свои быстрые насмешливые глаза.

– Да это кровь! – отвечал Чурчила, рассмотрев поданное питье, и отстранил от себя сосуд.

– Меньшой брат мой, Семен, сказывал мне про тебя, что ты отважен, а ты, я вижу, что баба трусливая, не решаешься отведать этого составца. Он для тебя нарочно приготовлен. Это не кровь, а молоко бешеной волчицы с корнем той осины, на которой удавился Иуда, – заметил старик, снова подавая Чурчиле сосуд.

– Что это, еще, что ли, испытание? – воскликнул Чурчила. – Только я его не хочу выдерживать, – и опять отпихнул сосуд так, что часть жидкости пролилась на пол.

– Выпей же! – произнес грозно старик и подал сосуд прямо под нос Чурчилы.

Чурчила вспыхнул и, выхватив сосуд, бросил его на пол. Часть жидкости попала на одежду хозяина, зашипела и прожгла ее. Одежда задымилась.

– А! Ты хотел меня зельем опоить, прислужник сатаны! – крикнул Чурчила. – Я разгадал твое гаданье, разгадай ты теперь мое: долго ли тебе осталось жить?

Он схватился за меч.

Старик молча погрозил ему и таинственно указал видневшиеся в избе полати, на которых что-то копошилось.

Чурчила взглянул пристальнее и увидел петуха, вытягивавшего шею и машущего крыльями. Петух издал истошный крик.

– Не более двух раз могу я слышать его пение, – проговорил старик. – Держи, я дам тебе клык черного быка с красным ухом. Он выдержан в крови летучей мыши, и им можно заклясть любого врага, а самому спастись от притязаний нечистой силы; держи его при себе, а мне дай меч свой. Только остер ли он и гладко ли лезвие его?

– Если хочешь, подставь шею, я попробую на ней, но иначе я не отдам своего меча...

– Я вылощу его еще острее и глаже, и ты на нем прочтешь все, что желаешь знать...

Старик замолчал, пытливо глядя на Чурчилу.

Тот тоже молчал.

Петух пропел в другой раз.

– Чу, второй раз! Третьего крика я не перенесу и прощусь с тобой, – отшатнулся от Чурчилены старик. – А я бы мог поведать тебе многое о переменах в Новгороде... о Настасье.

Старик остановился, взглянув на Чурчилу исподлобья.

– Говори, говори, старичок, возьми меч мой, – стал вдруг упрашивать его тот и отдал меч.

Жадно схватил его старик и вдруг крикнул далеко не старческим голосом:

– А, ненавистный человек, наконец-то, ты в моих руках!.. Теперь-то я досыта, нет, – ненасытно начну пить кровь твою!

Он бросился на Чурчилу.

Юноша не растерялся и схватил его за бороду. Борода осталась в его руках. Меч просек ему плечо, но разгоряченный юноша только встряхнулся и схватил своего соперника за

горло.

Старик яростно крикнул. На полатах посплышались возня, и четыре рослых, плечистых мужика с кистенями в руках прыгнули на пол и бросились на Чурчилу.

Последний, прижавшись в угол, отбивался от них стариком, которого продолжал держать за горло.

Минуты Чурчины были сочтены, но в этот миг дверь избышки от сильного удара распахнулась и соскочила с петель. В избу вбежал Дмитрий с ватагой и, взглянув на старика, крикнул ему:

– Павел, полно жить!

Чурчила от этого восклицания вздрогнул, но не разглядел его, так как голова его противника, снесенная с плеч мечом Дмитрия, подпрыгнула, прокатилась по полу и укатилась в темный угол. Тело через минуту тоже рухнуло.

Петух пропел третий раз – предсказание убитого сбылось.

Семен с остальными злодеями лежали на полу избы в предсмертных корчах.

Дмитрий вывел Чурчилу из избы.

Названные братья обнялись.

XXIX. Свадьба среди боя

Наступил вечер 14-го января 1478 года. На вече было решено на другой день сдать город Иоанну, если в эту ночь не прекратятся с его стороны неприятельские действия.

Темная ночь спустилась над Новгородом. Московские огнеметы не умолкали и то и дело делали бреши в стенах. Бойницы, строившиеся под надзором Аристотеля, росли с каждым днем все выше и выше перед новгородцами.

Городские стены трещали и распадались.

Чурчила был печален.

Узнав о решении народа сдать город, он напрягал все свои силы, чтобы защитить его: сам наводил стволы огнеметов на москвитян, устраивал крепкие засеки или рогатки, ободрял своих, но тщетно...

Главная, противоположная бойницам москвитян, стена, на которую опирались все надежды новгородцев, осветилась выстрелом, и часть ее, окутанная сизой пеленой сгустивше-

гося дыма, с треском взлетела на воздух.

Для приступа открылась широкая дорога. Как пораженный молнией, остановился Чурчила невдалеке от разрушенной стены.

«Все ли кончено теперь? – мысленно спросил он самого себя, очнувшись. – Для Новгорода – все, но для меня еще только начинается».

Как бы что вспомнив, он ударил себя по лбу и побежал по направлению ближайшей церкви, в дверях которой и скрылся.

К утру 15-го января все готовилось к встрече Иоанна. Весь Новгород был в движении.

В это самое время Чурчила вихрем летел к светлице Настасьи Фоминичны, расталкивая всех, попадавшихся ему навстречу челядинцев.

Посадник Фома отправился прощаться с вечем. Лукерья Савишна молилась в своей образной; везде в доме было пусто и тихо. Девушка была одна.

– Милая, бесценная! Все готово, свечи горят, как наши сердца, перед иконами, налой освещен, едем, едем... Венцы блистают!.. Там, на чужбине, сошьем мы себе гнездышко!.. Здесь, в Новгороде, нет нам родины, нет тебе

весны, моей ласточке милой, нежной...

С этими словами Чурчила взял ее в охапку и понес к выходу...

Лукерья Савишна выбежала из своей горницы и, поняв, в чем дело, поспешила за ними.

– Что вы, дети, что вы затеяли? Да слыхано ли, да видано ли венчаться так! Не сказали мне ни слова и помчались. Что-то добрые люди скажут, что единственное детище степенного посадника Фомы Ивановича, Настасья Фоминишна, поскакала венчаться с молодец в одних санях, в одну шубу закутавшись!..

Молодые люди не слыхали ее. Они уже катились в пошевнях далеко от ворот родительского дома.

Оружие москвитян гремело почти около той церкви, в которой венчали Чурчилу с Настасьей, но они не дрожали от этих воинственных звуков, а рука об руку, в золотых венцах, обошли троекратно налой, и священник благословил молодых супругов. С чувством неизъяснимого благоговения, с немым восторгом, наполнявшим их души, упали они

на колени и долго молились. Вдруг Чурчила в ужасе вскочил. Раздался звон – мерный, унылый. Точно хоронили кого-то... И, действительно, хоронили... Это были похороны Новгорода, но, вместе с тем, это был радостный звон, благовест русского самодержавия...

Чурчила крепко обнял жену свою и воскликнул голосом полным отчаяния:

– Радость, тоска, солнце, молния, цветы, яд – все это вместе. Отец святой! – продолжал он со слезами в голосе, обращаясь к священнику. – Вот тебе все мое сокровище. Он опустил на руку старца бесчувственную Настасью. – Сохрани ее только для меня. Я вырвал ее из когтей судьбы для себя. С самой судьбой ратовал я и хотел хоть перед концом жизни назвать ее моею. Она моя теперь! Кто говорит, что нет?.. Я сейчас бегу к Иоанну. Если возвращусь с добрыми вестями – поставлю с себя ростом свечку угоднику Божию Николе, а если нет – не дамся в руки живой, да и Настасью живую не отдам. Если же совсем не возвращусь, то отслужи по мне панихиду вслед за благодарственным послебрачным молебном.

Чурчила дико захохотал и стремглав выбежал из церкви.

Московитяне, тщетно ожидавшие покорности новгородской, сомкнулись и пошли на приступ, но в это время городские ворота растворились настежь и в них показалась процессия: архиепископ Феофил с обнаженной головой и с животворящим крестом в руках шел впереди тихим ровным шагом, за ним прочее знатное духовенство со святыми иконами и колыхающимися хоругвями. За духовенством шли именитые граждане и воины. Простого народа, впрочем, было не много – он от страха перед вступающими в город врагами попрятался. Несмотря на движение процессии, тишина была невозмутимая.

Лицо победителя Иоанна было радостно... его окружали довольные лица московских бояр. Новгородцы, не ожидавшие себе прощения, приняты им были милостиво.

Не успел он ответить на слова Феофила о подчинении под державную руку Великого Новгорода, как полы палатки распахнулись, в нее вбежал молодой красивый юноша и бросился к ногам Иоанна.

– Надежда-государь! – сказал он. – Ты доискивался головы моей, снеси ее с плеч, – вот она. Я – Чурчила, тот самый, что надоедал тебе, а более воинам твоим. Но знай, государь, мои удальцы уже готовы сделать мне такие поминки, что останутся они на вечную память сынам Новгорода. Весть о смерти моей, как огонь, по пятам доберется до них, и вспыхнет весь город до неба, а свой терем я уже запалил сам со всех четырех углов. Суди же меня за все, а если простишь, – я слуга тебе верный до смерти!

Молча выслушал его великий князь.

– Не посмотрел бы я ни на что, – отвечал ему Иоанн, – сам бы сжег ваш город и закалил бы в нем праведный гнев мой смертью непокорных, а после залил бы пепел их кровью, но не хочу знаменоватъ начало владения моего над вами наказанием. Встань, храбрый молодец. Если ты так же смело будешь защищать нынешнего государя своего, как разбойничал по окрестностям и заслонял мечом свою отчизну, то я добрую стену найду в плечах твоих. Встань, я всех вас прощаю!

После этого счастливый Чурчила очутился

в объятиях отца, с которым тотчас же и помчался за молодой женой.

Феофил от лица новгородцев начал просить великого князя, чтобы он соблаговолил изустно и громко объявить им свое милосердие.

Иоанн встал со своего места и сказал:

– Прощаю и буду отныне жаловать тебя, своего богомольца и нашу отчизну – Великий Новгород.

Пятнадцатого января рушилось древнее вече. Знатные новгородцы целовали крест Иоанну в доме архиерейском и приводили народ к присяге на вечное верное подданство великому князю московскому.

XXX. Арест вечевого колокола и Марфы Посадницы

Через несколько дней множество московских полков в полном вооружении вступили один за другим в Новгород и окружили вече.

Толпы народа появились около Дворища Ярославова и с удивлением наблюдали за таинственными действиями москвитян.

Ворота Дворища скоро растворились настежь и в них показались пошевни с какой-то высокой поклажей, тщательно скрытой рогожами от любопытных взоров.

Пошевни везло двенадцать лошадей. Их со всех сторон окружали московские воины с обнаженными мечами. Процессия ехала тихо, молчаливо, как бы эскортируя важного преступника.

Но народ догадался, что было скрыто под рогожами.

– Батюшка ты наш! – слышались возгласы толпы: – Не стало, тебя, судии, голоса, вождя, души нашей! Хоть бы дали проститься, наглядеться на тебя напоследок, послушать

хоть еще разочек голоса твоего громкого, залиvistого, что мирил и судил нас, вливал мужество в сердца и славил Новгород великий, сильный и могучий во все концы земли русской и иноземной. Еще бы раз затрепетало сердце, слушая тебя, и замерло бы, онемело, как и ты теперь.

Вывезя вечевой колокол за городские ворота, один отряд воинов, сопровождавших его, отделился от прочих и снова поскакал в город.

Проехав несколько улиц, всадники остановились у дома Марфы Борецкой, у ворот которого уже стояла московская стража.

Спешившись, воины вошли в огромный двор и нашли его совершенно пустым.

Пройдя двор и несколько запустелых светлиц, достигли они, наконец, наглухо запертой двери.

На стук их никто не откликнулся.

Дружно приложились они богатырскими плечами. Дверь дрогнула и слетела с петель.

Что-то тяжелое, грузное упало на пол.

Это был труп повесившегося на крючке, вбитом в притолоку двери. Воины узнали в

нем пана Зверженовского.

Тело еще не совсем остыло.

Что побудило хитрого ляха на самоубийство, какая драма произошла перед этим в доме Борецкой – осталось тайной.

Воины, оттолкнув ногами труп, пошли далее на слабый свет лившийся из окон горницы.

В ней и нашли Марфу.

Она стояла задом к ним, на коленях перед образом, покрытая черным покрывалом...

Трудно было определить, молилась ли она, раскаиваясь, или же призывала гром небесный на свою грешную голову, прося смерти.

Лампада колеблющимся светом озаряла золотые оклады икон и бледное лицо молящейся женщины. Воинов не смутила эта молитва.

– А, голубушка, полно проводить Бога, как людей обводила бесовским языком своим.

Без слова, без малейшего сопротивления отдалась она в их руки, только глаза ее дико сверкали из-под нависших бровей. Под тяжестью упавших на нее невзгод она лишилась рассудка.

Господин Великий Новгород склонил свою гордую, увенчанную славой главу под ярмо новорожденной Москвы, под мощную десницу Великого Иоанна.

Ранним утром того же 17-го февраля 1478 года, в монастыре Соловецком, недалеко от церкви, стоял у могильного холма коленапреклоненный юноша, в одежде чернеца и усердно молился.

В нескольких шагах от него беседовали два старца, вышедшие по окончании утрени подышать чистым воздухом зимнего утра.

– Святые отцы, благословите пришествие в мирную обитель вашу бесприютного странника! – прервал говорившего старца раздавшийся за ним голос.

Они оглянулись и увидели перед собой скромно одетого мужчину, с дорожным посохом в руках...

– Да будет благословен приход твой в тихую, безмятежную пустыню нашу, и да обретет душа твоя пристань вечную в недрах святыни и созерцании творений Зиждителя. Да приобретет она себе житием праведным богатство духовное – успокоение, какое вну-

шает этот юноша, – проговорил отец Авраамий, благословляя пришельца и указывая ему на молящегося. – Но кто ты сам? – спросил он. – Почему покидаешь свет?

– Я бывший гражданин падшего Новгорода Великого, а называюсь Назарием, – отвечал пришедший.

– Как, пал Великий Новгород? Боже праведный, чудны дела твои! – воскликнули оба чернеца и, скинув клобуки свои, благоговеино перекрестились!

Назарий рассказал им, как это случилось.

– Кто же этот молящийся юноша? – спросил он, окончив рассказ.

– Это тоже земляк твой. Он, после искуса нашего удостоился пострижения и назван братом Геннадием.

– А прежде как, звали его?

Голос Назария дрожал.

– Григорием...

– Довольно, это он... Я узнал его, – воскликнул Назарий и бросился к Геннадию.

Тот, уже привлеченный рассказом о Новгородской битве был недалеко от него и раскрыл ему свои объятия.

– Будь мне новым братом; отчизны я лишился по воле Божьей, а свет покинул сам, но теперь душа моя наливается небесным огнем. Я вымолил себе награду: она уже явилась ко мне и звала меня к себе. Награда моя близко. О, будь и ты счастлив, молись о сладком утешении, которое я уже чувствую в себе, молись о нем одном.

Он крепко сжимал руку Назария.

– Где же обрету я это утешение? Дай услышать мне его, – взмолился Назарий.

Геннадий молча указал ему на слова, высеченные на могильной плите, лежавшей над холмом, у которого он молился.

Назарий наклонился и прочел:

«Приидите ко Мне вси обремененнии и труждающиеся и Аз упокою вас».

XXXI. Послесловие

Наше незатейливое правдивое повествование окончено.

Бросим же общий взгляд на дальнейшую судьбу России под скипетром Иоанна III, справедливо прозванного современниками «Великим», а нашим известным историографом Н. М. Карамзиным – «первым русским самодержцем».

Новгород пал. За ним последовали остатки и других уделов, присоединенных к Москве.

До Иоанна III Россия около трех веков находилась вне круга европейской политики, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов.

Орда с Литвой как две ужасные тени заслоняли мир от России и были ее единственным политическим горизонтом. Россия была слаба, так как не ведала сил, в ней сокрытых.

Иоанн III, рожденный и воспитанный данником степной орды, подобно нынешним киргизским, сделался одним из знаменитейших европейских государей и был почитаем

от Рима до Царьграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни императорам, ни гордым султанам.

Во благо государства он не только учредил единоначалие, ограничив до времени права владетельных князей, чтобы не дать им повода к измене, но был и истинным самодержцем России, заставляя благоговеть перед собой вельмож и народ, восхищая милостью, ужасая гневом, отменив частные права, несогласные с полновластием венценосцу.

Председательствуя на церковных соборах, он всенародно являл себя главой духовенства; гордый в сношениях с царями, величавый в приеме их послов, он любил пышную торжественность, установил обряд целования монаршей руки в знак особой милости, стремился внешне всеми способами возвыситься перед людьми, чтобы сильнее действовать на их воображение, — одним словом, разгадав тайны самодержавия, сделался как бы земным богом для россиян, которые с того времени начали удивлять все иные народы своей беспредельной покорностью монаршей воле.

Иоанн III принадлежит к числу весьма

немногих государей, избираемых Провидением надолго решать судьбу народов.

Он герой не только русской, но и всемирной истории.

Он явился на политическом театре в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом государей возникла в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной.

Иоанн разрушил у нас систему удельную.

Тяжелый труд государя сравнительно рано сломил его духовные и физические силы.

Подобно своему великому деду, герою Донскому, он хотел умереть государем, а не иноком.

Склоняясь от престола к могиле, он давал еще повеления для блага России и тихо скончался 27 октября 1505 года, в первом часу ночи, имея от роду 66 лет, 9 месяцев и провластвовав 43 года и 7 месяцев.

Тело его погребли в новой церкви Архистратига Михаила.

Летописцы не говорят о скорби и слезах народа – славят единственно дела умершего, благодаря небо за такого самодержца!



Примечания

1

Полицейские того времени. (Здесь и далее примечания автора).

[^^^]

По прозвищу.

[^^^]

Обывателей.

[^^^]

В передний угол.

[^^^]

Разбой.

[^^^]

6

Охотниками прозывали молодцов, промышлявших набегами на соседние земли.

[^^^]

Пушки.

[^^^]

8

Новгородское тесто того времени.

[^^^]

Оловянная кружка.

[^^^]

Митрополит московский, бывший после Св. Филиппа.

[^^^]

Тюрьма.

[^^^]

Так называли новгородцы ливонских рыцарей.

[^^^]

Персидским.

[^^^]

В описываемое нами время строжайшим указом запрещено было пить в будни.

[^^^]

Суд для рабов.

[^^^]

Денежная пеня.

[^^^]

Траурном.

[^^^]

Повозка для покойников.

[^^^]

Плакальщики.

[^^^]

Моровая язва.

[^^^]

Эти орудия составляли русскую артиллерию до 1450 года.

[^^^]

Пушки.

[^^^]

Старинный инструмент – род дудки.

[^^^]

В гривне их считалось 50, каждая из них стоила 20 коп.

[^^^]

Вследствие торго с иностранцами в России в то время были в обращении монеты разных стран.

[^^^]

Хлебная мера того времени.

[^^^]

Новгородский житель, тайный доброжелатель великого князя Иоанна, заколотивший 55 пушек своих земляков, за что был мучительно казнен правителями Новгорода.

[^^^]

Т. е.: в милости.

[^^^]

Первая супруга Иоанна была тверская княжна.

[^^^]

Верховые.

[^^^]

Ливонцы – название того времени.

[^^^]

Озеро новгородское, в котором потонуло много людей во время сражения с Иоанном в 1471 году.

[^^^]

В гривне их считалось 25.

[^^^]

Т. е. крепостных вечных, временных и нанятых.

[^^^]

Нынешние мещане.

[^^^]

Так назывались продавцы мелочных товаров.

[^^^]

Цеховые или мастеровые люди.

[^^^]

Баннѣй.

[^^^]

Конюшенный.

[^^^]

Где теперь здание судебных установлений.

[^^^]

Верховые.

[^^^]

Должность, соответствующая должности гоф-
маршала.

[^^^]

А. И. Майков.

[^^^]

Предохранительный лист для свободного
приезда в Москву.

[^^^]

45

15 500 рублей.

[^^^]

Конюшие.

[^^^]

Заведующие уборкой комнат.

[^^^]

Нынешние камер-юнкеры.

[^^^]

Оплечья.

[^^^]

Этажерка.

[^^^]

Великий князь Иоанн III первый ввел в обыкновение целование монаршей руки.

[^^^]

Этот образ вывезла из Рима великая княгиня
Софья Фоминишна.

[^^^]

Придворных.

[^^^]

Герольдам.

[^^^]

Крепость Ниеншанц была на месте Петербурга, на болотистых и лесистых берегах Невы.

[^^^]

Род бильярда.

[^^^]

Ныне крепость Шлиссельбург, основана в 1324 году князем Юрием Даниловичем и названа «Орешком» по кругловатости острова, на котором она построена. Ливонцы, завладевшие ею, называли ее Нотебургом.

[^^^]

Вперед!

[^^^]

Свирели или флейты.

[^^^]

Завесными они назывались потому, что завешивались ремнем за плечи. Были еще затинные пищали. Затин – слово старинное, означает – заряд. Затинщики – были артиллерийские служители, помощники пушкарей. Затинные пищали были собственно малокалиберные пушки; их заряжали с казенной части, или ружей, двойных колчанов с луками и стрелами, сулицы – род малого копья, которым поражали неприятеля издали, кистеней и бердышей.

[^^^]

У великих княгинь были собственные дворы, воеводы и часть войска.

[^^^]